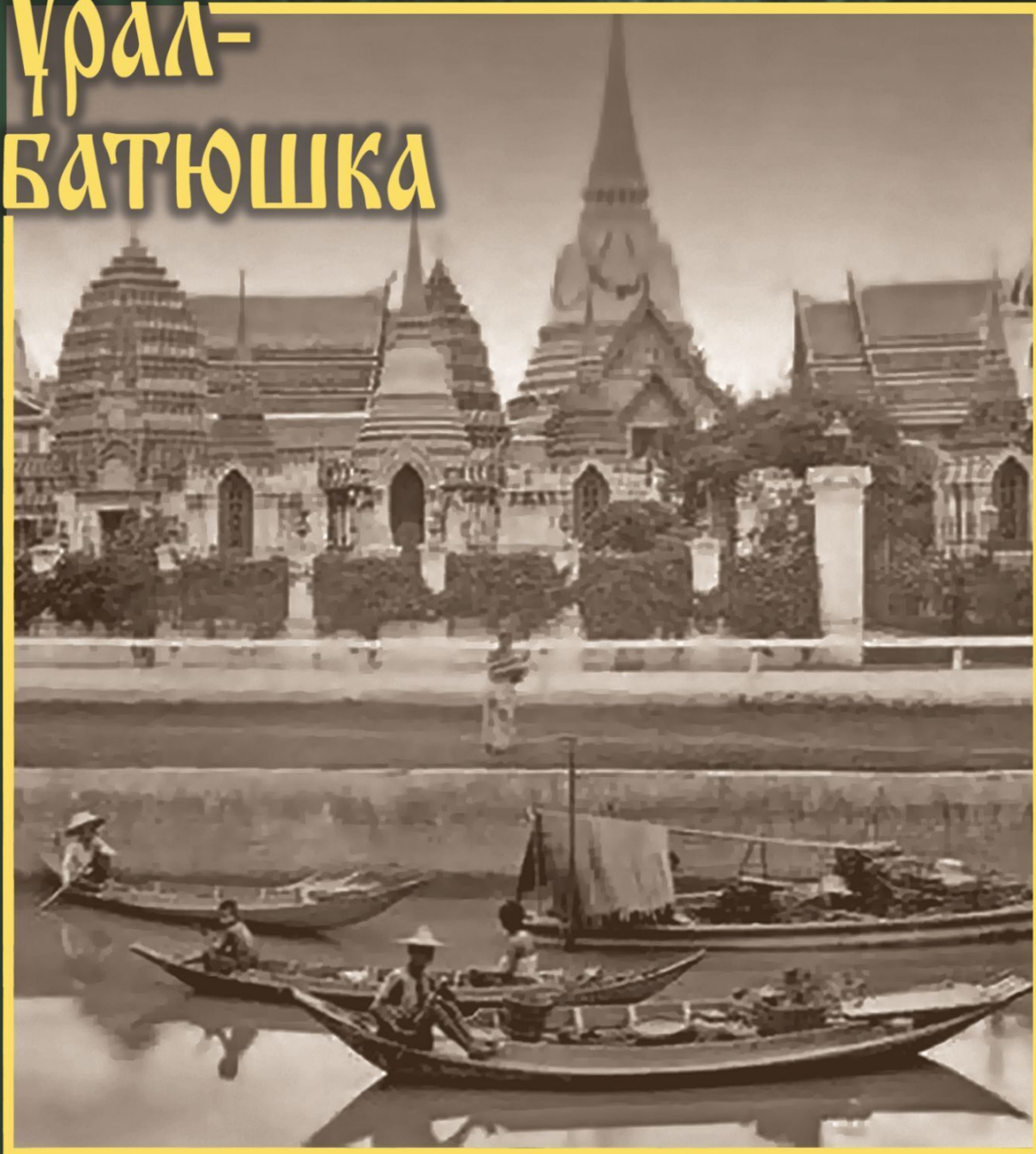


АЛЕКСАНДР  
ЛЕОНИДОВ

Урал-  
БАТЮШКА



Сиамский код

Урал-батюшка

Александр Леонидов

**Сиа́мский код**

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Леонидов А.**

Сиамский код / А. Леонидов — «ВЕЧЕ», 2025 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-5426-4

Роман «Сиамский код» продолжает рассказ о становлении нацизма в Германии и других частях света, начатый романом «Псы руин». Основное действие разворачивается в Королевстве Сиам, где при поддержке милитаристской Японии укрепляется местный фашизм. Полная опасностей и приключений жизнь бывшего русского аристократа, а ныне советского разведчика переплетена сложными интригами и любовью нежной Аннэ. Александр Леонидов — уроженец города Уфы, автор двадцати книг художественной прозы. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии имени Василия Шукшина.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5426-4

© Леонидов А., 2025  
© ВЕЧЕ, 2025

# Содержание

1	6
2	8
3	14
4	23
5	30
6	44
7	52
8	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

**Александр Леонидов**  
**Сиа́мский код**  
*Роман*

\* \* \*

© Леонидов А., 2025

© ООО «Издательство „Вече“», 2025

# 1

Начну с конца: в 1947 году я вместе с молодым тогда Мао Цзедуном покинул Яньань под напором чанкайшистов, уходя на север «Особого района», разорванного гражданской войной Китая. Добравшись на выдавшем виды, помятом и облезлом «студебеккере US6» до скромной деревушки Сипайпо уезда Пиншань на западе провинции Хэбэй, мы с Мао расстались: он оставался, а мне пришёл приказ ехать дальше, возвращаться на Родину...

Незадолго до этого мне спецрейсом в «Особый район» доставили мою настоящую военную форму, которой заметно завидовал Мао, в те поры не вылезавший из мятого и грязного синего ватника.

Я облачился в «экспортный» вариант советской генеральской формы с меховой опушкой, весьма импозантный, с тяжёлыми золотыми советскими (они же царские) погонами генерал-майора и прочей, как я тогда шутил, «малиново-кантной фурнитурой».

Заботливые интенданты приколоты заранее, как положено, вымерив до миллиметра, мою звезду Героя Советского Союза, которая добавляла к общей придворной пышности шинели «драп-касторового» сукна дополнительный ювелирный шарм. И рядом с тогдашним плюгавым, мосластым, напоминавшим портового кули Мао я смотрелся очень старорежимно; в хорошем смысле этого слова...

Китайская гражданская война продолжалась уже без меня. На советской границе, в засекреченном военном пункте перехода «Полуяново», в районе великих монгольских озёр, из пышного разнотравья невыносимо комкая душу, своими шершавыми трешетками донимали коростели.

Здесь, в месте, мало похожем на знакомую мне Россию, и всё же в России, среди сырых, ершистых пойменных лугов с редкою порослью кривляющихся на все лады разлапистых кустарников меня встречал у шлагбаума на КПП молодой советский офицер, манерный сталинский золотопогонник.

На кителе со стоечкой, таком царском, гвардейском, из памяти юности моей – медаль «За победу над Японией». И ещё одна медаль, перевитая георгиевскими лентами, «Наше дело правое, мы победили». Два профиля товарища Сталина как бы отвернулись друг от друга, напоминая композицией двуглавого орла. С «японской» генералиссимус строго смотрит на восток, с георгиевской – на запад.

– Александр Романович, рад вас приветствовать! – сказал мне, отрывисто пожимая руку, бдительный пограничный комендант пункта пропуска. – Меня предупредили о вашем приезде, но...

– Но что?

– Но зануждён отметить – ничего о вас не знаю...

Я сразу уловил, что встречный офицер общался со мной, используя характерный для западного края околопольский выговор. Его фамилия мне ничего не сказала, а вот глаза... Остзейские бесцветные, с виду словно слепые...

– Вам не передали моё личное дело? – спросил я, приосанясь.

– Передали. Так.

– Тогда почему вы не ознакомились?

– Я ознакомился, но... но...

Майор-комендант полуяновской заставы мялся, не зная, как помягче сделать нагоняй потустороннему генералу, в прямом смысле явившемуся из мёртвых.

– Всё, что вам нужно обо мне знать, – в моём личном деле! – сухо и строго помог я его неловкости.

– Но в вашем личном деле только старая жёлтая фотокарточка и ещё одна бумага! В полстранички! «Облечен особым доверием государства». И подпиши, страшно сказать, кого. И печать, страшно сказать, чья. И... И всё!

– А больше вам знать обо мне ничего и не нужно! – ответил я, не удержавшись от заносчивости «феодалного пережитка». И коростели со всех сторон щекотливыми древесными воплями своими передразнивали мою надутость... – Послушай, голубчик, а твою матушку, часом, не Ядвигой ли зовут?

– Отколе вы ведаете? – напрягся офицерик.

– А отчество твоё как?

– Александрович... Бацька в империалистическую сгинул, я его не знал зовсим... А ко чему вы, товарищ генерал, это спросили?

– Да так... Обознался... Счастья тебе, Александрович!

– Нет, и всё-таки... – недоумевал погранец. – Отколь вам знати матку мою?

– Я и отца твоего знавал... Давным-давно...

Из чёрной тарелки радиоприёмника в комендантском кабинете раздавалась советская песня, как будто бы специально подгадавшая, чтобы меня встретить:

...Была бы наша Родина богатой да счастливою,  
А выше счастья Родины нет в мире ничего!

Слёзы навернулись мне на глаза, в точности по сюжету этой песни:

Пусть плакать в час свидания солдату не положено,  
Но я люблюсь Родиной и не скрываю слез...

Я, может быть, лучше очень и очень многих понимал, какой огромной ценой наша страна сохранилась, и как маловероятно, близко к понятию «чудо» виделось её сохранение всего десятилетия назад...

Вернулся я на Родину, шумят берёзки встречные.  
Я много лет без отпуска служил в чужом краю...

Это же в точности про меня!

## 2

Для кого-то Великая Отечественная война советского народа началась 22 июня 1941 года. Для меня она началась в 1938-м. Это был год сверхнапряжённой и почти безнадёжной борьбы «бульдогов под ковром», схватки, невидимой глазу, но предопределившей весь дальнейший ход истории. Той самой истории, которой мы не дали «закончиться». Той, которая в 1938 году висела на тоненьком волоске...

Простые люди видели только пики этой борьбы, казавшиеся нелепыми случайностями, возникшими из ниоткуда и проваливающимися в никуда. На самом деле великие державы прощупали этими «случайностями» несколько сценариев грядущей мировой войны.

Например, все знают, что в июле 1938 года японцы зачем-то напали на СССР в районе озера Хасан. Напали, постреляли, перебили семьсот русских, сами оставили на поле вдвое больше, а потом вдруг ушли. И – тишина с обеих сторон, как будто ничего не было...

«Так ведь не делается, – думал простой человек во всем мире. – Не напавши – крепись, напавши – держись. Чего это японцы на Дальнем Востоке вытворяют?».

«Россия окружена и трепещет», – говорил Геббельс, удовлетворённо глядя на карту. В наших учебниках иногда эти его слова приводят как пример бахвальства, авантюризма, но...

Но мы – те, кто смотрели изнутри, – знали, в чем дело. Знали, откуда ветер дует, до холодного пота, до нервного истощения. Японцы напали, конечно, не просто так, не из удальства или ухарства. На востоке Япония уже начала и подмигивала: давайте, присоединяйтесь! На Западе оформился и креп военный союз Германии и Польши. Два миллиона польских жолнеров собирались идти на Москву в хвосте, вослед танковым клиньям гитлеровского рейха. И эти два миллиона пусть не лучших, но всё-таки солдат, ненавидевших Россию куда больше финнов или румын, – могли бы перевернуть историю, а особенно при учёте миллионной армии самураев на Амуре.

Использовать такую комбинацию – было тонкой и продуманной стратегией, которая привела бы антикоминтерновский пакт к победе во Второй мировой войне, если бы... Если бы мы ей дали развернуться. А мы не дали...

Для того, наверное, и родились.

\* \* \*

– Мне кажется, что людей по-настоящему плохих, как и хороших, – на самом деле очень мало, – откровенничал со мной сильно сдавший в том году Теодорих – «Тедди»-фон Редзет. Мы с ним по-прежнему «частными лицами» жили в старом, но недобром Берлине, в угрюмом мегаполисе, который фюрер германской нации предполагал лишить «позорного славянского имени» («Берлин» легко считывается по-русски, как «логово бера», то есть медведя) и переименовать в город «Столица-Мира-Германия». На большее, чем обозвать столицу именем страны, куцей фантазии у фюрера не хватило...

Серой весной 1938 года ещё ни одна бомба не упала на Берлин, но его уже активно бомбил нацистский гросс-архитектор Шпеер, который сам про себя не без кокетства рассказывал, что «не умеет учитывать масштабы». Шпеер бомбил Берлин чудовищным кубизмом бетонных нештукатуренных зданий-бункеров, которые, вызывая наше с Редзетом брюзжание, поднимались опарой то тут, то там.

– Мы должны полностью перестроить погрязший в декадансе и разврате провинциальный Берлин! – орал Гитлер из каждого радиоприёмника. – Сделав город достойным имени Столица-Мира-Германия!

Даже и в незавершённом виде «дома-квартиры» бункерного ампира успели изувечить облик Берлина так, что это увечье не скрыли и последующие ковровые бомбардировки...

Основой имперского градостроительства Альберт Шпеер, этот Босх «живописи, застывшей в камне», предложил серые каменные плиты огромной толщины. Призванные вызывать «священный трепет», гитлеровские колоссы выглядели в итоге посреди более-менее вмняемой городской застройки угрюмыми недостроями из шершавого бетона.

Глядя на то, что Шпеер делает с Фридрихштрассе, Редзет в точности выразил и мои ощущения:

– Это не город! Это саркофаг!

И в самом деле, каменное зеркало «тысячелетнего рейха», проступавшее из земли массивными кубами бетона, более всего напоминало мастабы – гробницы древнеегипетской знати и мрачные, демонические вавилонские храмы.

Двери Гитлер со Шпеером «ради величия» выдумали делать в три человеческих роста, неимоверно тяжёлые, так что открывать дверь, обивая пороги учреждений, стало можно приравнять к занятиям тяжёлой атлетикой. На этих дверях бронзовая ручка располагалась где-то на уровне лба, и если человек был ниже среднего роста, то он тянулся к ней, как тянутся на верхнюю полку шкапа...

Мрачные фантазии Шпеера, задумавшего застудить в бетонных монолитах музыку Вагнера, идеально легли на комплексы неполноценности фюрера. Я хорошо знал молодого Гитлера и прекрасно понимал, откуда ветер дует: фюрер строил для великанов, потому что внутренне со щемящей болью всегда чувствовал себя карликом и мучительно пытался скрыть ото всех свою природу карлика. Именно так и ведут себя физические и духовные вырожденки, когда неожиданно и вопреки всякой вероятности, на случайном изломе уравновесившихся взаимно векторов противоположных великих сил вдруг выталкиваются к рулю высшей власти.

Знаменитый немецкий психиатр профессор Артур Кронфельд, медэксперт мюнхенского городского суда, вынес ещё в 1932 году ясное и однозначное заключение: Гитлер – ярко выраженный психопат<sup>1</sup>.

«Узкие плечи, широкий таз, толстые ноги и тяжёлая походка подчёркивают безобразное строение тела. Незначительный лоб, небольшие мутные глаза, короткий черноволосый череп, слишком большой подбородок обнаруживают известную дегенеративную примитивность. Он невероятно гримасничает и постоянно пребывает в беспокойном движении. ...Первоосновой характера Гитлера, его осью и сердцевинной является безграничная самовлюблённость». Гитлер страдал евнухоидизмом. Это и стало его личной мелодией – вынесенной фасадом во вдохновляемую им симфонию столичной застройки...

Если послушать Гитлера, то он витиевато и многословно (как всегда у него), с гримасами макаки вещал про «шагающие в строй» «бесконечные анфилады арок и древнеримских колоннад», «достойных сверхчеловека», о каменных рунах, скульптурах арийских богов и героев арийских саг, античных атлетов, о «тысяче Колизеев» по всей империи.

Но в строй входили вовсе не римские, и тем более уж не изящно-греческие – а грубо-топорные, в стиле поклонников Мардука, безвкусно-угловатые зиккураты с отчётливым привкусом солдафонщины. Не получался Рим у шизофреника Шпеера – как не получается портретное сходство с натурщиком в магне художника-кубиста...

Мы с Редзетом люди, «тронутые Россией», – особенно отчётливо это видели и понимали друг друга почти без слов. Но как «отщепенцы», немцам художества Гитлера нравились: люди-винтики наконец нашли себе механизм, куда можно «вкрутиться» по стандарту своей резьбы с ловкостью лампочки-филаменки...

---

<sup>1</sup> «Три дня сидел я вместе с Гитлером и его сообщниками в небольшой свидетельской комнате, ожидая допроса, – писал Кронфельд. – Это время я использовал для внимательного наблюдения героя процесса».

В плещущихся вокруг меня бургерских восторгах насчёт того, как быстро и умело фюрер «преображает наш Берлин в лучшую сторону», была частичка подхалимства, традиционного немецкого чиновничества. Но было и много искренности, идущей из самой глубины мелкой, плоскодонной филистерской душонки.

\* \* \*

Старожилы ещё помнят, какая великолепная «Сосисочная» лепилась по боку возведённого в 1934 году уродливого, как склеп сатаниста, Олимпиаштадиона. Берлинский Колизей пережил Вторую мировую, а «Сосисочная» – нет...

Бомбы пощадили идолищ германского пантеона, грифами-падальщиками нависающих с кромки амфитеатра, грозивших оттуда своим древним оружием, пощадили каменные рунические знаки на подавляющих мегаломанией стенах, но в щепки разнесли лёгкое тело заведения, где подавали – тут могу подтвердить – самые сочные сосиски на свете с идеально-выдержанной в духовке тушёной капустой.

Здесь мы с фон Редзетом, заглянув пообедать, любили выпить пару кружек пива и ответить душу, разговоривая «в уголку» на русском языке.

– Мне кажется, что людей по-настоящему плохих, как и хороших, – на самом деле очень мало, – именно там повторил мне Редзет, сдувая с пива пену, и словил на верхнюю губу умилительно-ажурные пенные «усики». – И тех и других, думаю, 1 % населения. 98 % – они пустышки, они никакие... Это марионетки, набивные куклы, у них нет собственного ума, и они оплодотворяются молбками тех вод, в какие окунуты... Попадут в руки доброго кукловода – и всю жизнь будут казаться добрыми. А в руки злого – и до самой смерти будут казаться злыми... На самом же деле они манекены, тряпичные игрушки, добра и зла в них не больше, чем в топоре! 98 % людей на земле не имеют вообще никакого собственного лица, лицо им, улыбку или оскал, рисует 1 % хозяев, обладающих редчайшим среди людей умением – думать...

И я понимал, что это брюзжание «вообще и ни о чём» – про немцев нашего с Редзетом поколения. Немцы с 1933 года – отъелись. Округлились, словно бы пытаясь верноподданно принять кубическую форму архитектуры своего обожаемого вождя.

Те, кто помнят «веймарский свинарник», – не дадут мне соврать: то было подобие очень тяжелобольного человека, заживо, до выхода рёбер наружу, гниющего телом и духом, усыпанного гнойными язвами и пролежнями, сотрясаемого лихорадкой в горячечном бреде. И казалось, что человек этот с одра своего не встанет, так и умрёт...

Но вышло совсем иное: с виду смертельно больной сифилисом либерализма человек оказался вовсе не болен. Оказалось, что корчился он в стадии перехода, какие сказки приписывают оборотням. И через лихорадку существо это с деформированными костями вдруг вскокило с провонявшей гноем койки мускулистым, бодрым, жутко хохочущим чудовищем.

Если бы меня спросили (тот же старина Редзет) – чего мне больше всего не хватало в Берлине 1938 года, я бы ответил: милой, старомодной барской меланхолии навсегда минувших дней юности моей!

Берлин сотрясался взрывами плотского брутального гогота, хлопчато-бумажно рвущегося до рвоты на каждом углу и перекрёстке. Как десять лет назад Берлин был полон маниакальной депрессией, так сейчас он был полон не менее маниакальным оптимизмом. И в нём никуда невозможно было убежать от строевых песен, фолькс-хорового усердия и марширующих физкультурников, мясные реки которых пенились султанчиками флагов над головами тысяч и тысяч атлетически сложенных бесстыдников, повсюду шагающих в туго срам обтянувших трусах и майках без стеснения – и наоборот, горделиво...

С восторгом и благодарным лыбом эти безработные получили работу. С радостью и благодарным смехом – эти оголодавшие в «свинарнике без корыт», каким была Веймарская Гер-

мания, наелись традиционными немецкими «фольксблюдами». С бешеной иступленностью и неподдельным энтузиазмом они слились в огромного плотоядного червя, в пародирующего церковную «плоть едину» дракона национального единства, безликого до неразличимости. Людей не осталось – была только одна «амёба „нации“», огромная и безголовая, с рефлексами, присущими «кляксам» простейших организмов.

На это пиршество плоти слетались каменные орлы – на фронтонах зданий и на опорных колоннах решётчатых фигурных оград. Год от года орлов становилось всё больше, и каждый в каменных или стальных лапах когтил солярную свастику.

Плоть жрала. Плоть наслаждалась. Плоть убивала. Это не то, чтобы три разных дела, это просто три грани одного дела. Которого и делом-то не назовёшь, а скорее – жизнедеятельностью земноводного гада... Поскольку в детстве, в Петербурге или за городом, на помещичьих досугах, на дачах или в имениях, я очень любил листать иллюстрированные фолианты по древней истории – я узнавал местность неожиданным для других образом. Я отчётливо, более отчётливо, чем хотел бы, видел в нацистской Германии проступающую из археологических слоёв прорастающую кирпичной клетчаткой архаику Ассирии, Хеттского царства, Финикии или Арцавы.

Гробокопатели зовут древнюю Арцаву «страной орлов», там был, по всей видимости, культ поклонения орлам, смешанный с ритуальным храмовым людоедством...

Тяжеловесные прямоугольные гробницы с львиными рельефами и орлиными головами, хеттские руины с такими же вот монолитными каменными кровлями... Гитлеровцы выкладывали крыши бетонными плитами, заранее предполагая бомбардировку с воздуха, но для чего это нужно было древним хеттам или египтянам – ума не приложу!

Глядя на упоённую ежедневную работу одержимого лейб-художника Рейха Арни Вальдершмидта, рисовавшего на улицах, стену за стеной, фрески с подчёркнуто верноподданническими гримасами солдат вермахта, – я поневоле, через стилистику, опознавал крито-минойские стенные росписи, фрески страны Лабиринта и Минотавра...

Старый дохристианский мир выходил из подполья подземных слоёв, где, казалось, был навеки погребён, оживал, самореставрировался, ростками пробивал современные покрытия мостовых.

Дела у антикваров шли очень хорошо. А у нас с Редзетом – очень плохо. И это было вполне взаимосвязано: германские антиквары весьма разжились в последние пару лет, фюрер дал им отряды громил, чтобы врываться в еврейские антикварные заведения, захватывать там всё, заплатив прежним владельцам лишь одним: смертью. Немецкие антиквары со своими фрау и киндерами заселялись в роскошные особняки, не всегда даже успевая в радостном гуле новоселья снять со стен фотографии прежних жильцов...

Фон Редзет тоже получил отряд бритоголовых молодчиков в свой «сектор». Насвистел им, как он умеет (болтун он всегда был изрядный), что громить антикварный магазин евреев Зюйсов не стоит, могут пострадать ценные безделушки.

– Посему, бурши, вот вам рейхсмарки, ждите меня в пивной! Я один схожу и разберусь!

Он пошёл в магазин к Зюйсам, объяснил им, что с ними будет, спрятал в дальних помещениях, а буршам из отряда погромщиков солгал, что Зюйсы сбежали, и услуги мясников больше не потребны. Большинство бритоголовых вполне удовлетворились второй кружкой дармового пива, но нашлись двое, которые накорябали мозолистыми пролетарскими лапами донос: мол, Редзет дал зловредным насекомым, жидам Зюйсам, сбежать...

И теперь у старины Тедди были проблемы с властями, не считая проблем с пятерыми Зюйсами, которые прятались в задних полуподвальных комнатах собственного (но бывшего) магазина и с которыми Редзет – убей, не знал, что делать...

В итоге он решил рискнуть, как поступал уже не раз. По его любимой формуле «мы, русские, должны помогать друг другу» – он за столиком облюбованной нами «Сосисочной»

сознался мне, «как старому товарищу», в своём расовом преступлении. Понимая – я могу выдать. Но надеясь на мои чувства, «несколько подобные» его состоянию.

– Что мне делать, Ацхель? Я не могу, понимаешь, это выше моих сил... Там трое детей, младшему всего семь лет... Таких, как они, забивают палками, и всем кажется, что это нормально, даже весело... А я не могу... Я ведь из России, ты же помнишь?! Я из России, как и ты, Ацхель, Александр Романович! Я не могу отдать их – этим... этим...

– Рассерженным горожанам? – подсказал я либеральную формулу, пытаюсь шутить.

– Ну, лучше не скажешь... Только тут не говорить нужно, Ацхи, а делать... Что мне делать?

– Теперь уже нам.

– Как ты сказал?! – старина Теодорих ушам своим не верил.

– Раз уж ты мне всё выболтал, а я, ценя твою шкуру, не отдам её портить костоломам *Geheime Staatspolizei*<sup>2</sup>, то теперь действовать придётся уже нам...

– Спасибо, Ацхи! – улыбался Редзет умоляюще за столиком пивной и так нежно взял мою ладонь в свою, что мне пришлось напомнить о строжайшем запрете гомосексуализма новой властью. Он не внял и в порыве благодарности поцеловал мне руку...

– В принципе фюрера можно понять! – глумился я, скрывая собственное отчаяние. – Вначале нетвёрдые арийцы прячут жидов от справедливого гнева сверхнации, а потом начинают ласкать своих однополых подельников... Так и происходит вырождение духа Зигфрида!

– Что нам делать, Ацхи?

– Думаю, тайно вывезти Зюйсов в Швейцарию...

Фон Редзет ступсывался. Милосердный русак, выпестованный русскими кормилицами, теперь в нём боролся с предпринимателем. Он уже знал, что я скажу дальше.

Да и немудрено – оно оскомину набило: Гитлер неоднократно, перед тем как убить, пытался выдворить евреев в Америку, Англию или ту же Швейцарию. И западные страны были совсем не против – но с условием: евреи переедут за деньги и с деньгами. А Гитлер настаивал, что деньги эти жида украли у сверхнации, а потому выдать он готов только тушки жидов, но никак не их капиталы.

– Если вам нужны евреи – то забирайте, но бесплатно!

И как-то так получилось – почему же это мне нисколько не дивно?! – что бесплатные евреи оказались совсем не нужны капитализму. Инвестору каждая страна была бы рада, в чём и расписалась, но принимать раввина в рванине – это ж потом его кормить нужно...

Пятеро Зюйсов, согласно расовому законодательству потерявшие свой бизнес, не нужны были Швейцарии от слова «совсем». Если бы мы, два свихнувшихся барона, переправили бы их через швейцарскую границу, то в первую же ночь, устроившись ночевать на скамейках в парке, они были бы отловлены «группенфюрерами»<sup>3</sup> швейцарской полиции.

И – после разбирательства со строгим соблюдением духа и буквы буржуазного законодательства их бы депортировали... обратно. Случаи были уже! Чужие бродяги Швейцарии не нужны. Если они из Германии, то пусть Германия с ними и разбирается...

А крематории ещё не заработали, но уже строились в нашей с Редзетом Германии. Фюрер твёрдо вставал на тропу, протоптанную англичанами. То есть шёл к становлению концлагерей<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Аутентичное название организации, более известной как «Гестапо».

<sup>3</sup> В Швейцарии и доселе так называют полицейских офицеров, начальников полицейских отрядов или патрулей.

<sup>4</sup> Если спросить малоподготовленного человека, кто придумал концлагеря, то большинство ответит, что изобретателем концентрационных лагерей были фашисты во время Второй мировой войны. Но задолго до Гитлера изобретателями концентрационных лагерей стали англичане в период второй Англо-бурской войны 1899–1902 гг. Они заперли в концлагерях *всё* мирное население, а заодно и использовали его в качестве заложников, чтобы оказывать психологическое давление на бурских партизан. Тогда и появился впервые в мире термин «концентрационный лагерь».

Следовательно, мало было, рискуя репутацией и жизнью, вывезти семью с тремя детьми в нейтральную Швейцарию: придётся дать им денег. Много денег, чтобы надолго хватило и можно было бы как-то устроиться, не привлекая к себе внимания бродяжничеством, побирушничеством и прочими безусловными пороками, столь строго осуждаемыми в мире благонамеренных буржуа...

А Редзету не хотелось. Как и всякий предприниматель, он был жизнью рисковать более склонен, чем деньгами делиться...

## 3

Грубо сброшенная с фронтона вывеска «Zuiss Antiquitäten» с немецкого переводилась как «Антиквариат Зюйсов». Я же перевёл её на латынь и обратно: без буквализма, философски. «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит земная слава». Законы против еврейского засилья одновременно уничтожили богатых с виду антикваров Зюйсов, доказав, что деньги – на самом деле ничто, лишь тень, отброшенная властью. А иной раз власть – вампир, и не отбрасывает тени...

Теперь на этом вызывающе-выдающемся, обрубленном входной группой, массивно-торцевом углу тяжеловесной берлинской многоэтажки будет другая вывеска: «Антиквариат Клотце и Редзет». Есть нечто закономерное, что два барона достоинства давно не существующих империй в итоге нашли себя в торговле старьём... Таким же ветхим и траченным, как и они сами. И так же на крови – как это всегда бывало у феодалов...

«Zuiss Antiquitäten» предлагал своим, уже бывшим (потому что они стали нашими с Тедди), покупателям широкий выбор старинных велосипедов и печатных машинок старых моделей, поцарапанных граммофонных пластинок и дисков для фонографа, богатый выбор ламп и замковых кенкетов, подсвечников и канделябров, столового серебра и фарфора, старые литографии и живопись, некоторую даже и приличную, в исполнении почтенным маслом. В глазах рябило от пестроты мелких предметов интерьера и бесчисленных завитков элитной, потемневшей от времени мебели, за стеклом сверкал хрусталь и свиная, тиснённая золотом кожа переплётков старинных изданий. Кстати, не только немецких...

Что вы хотите узнать о нацизме? Я – живой свидетель изнутри Левиафана, и мне скоро стукнет сто лет, так что «убить в архив» я могу в любой день текущего месяца, не говоря уж о текущем годе... Потому, если хотите что-то понять в коричневой чуме, спрашивайте поскорее, у меня «срок годности» давно истек. Вам интересно, почему целая нация вдруг становится скопищем бесноватых маньяков?

Про маньяков рассказывают, что им нельзя знать имя своей жертвы. Нельзя ничего личного про неё знать! Хищный мир, в котором я жил, устроен так, что убивать в нём необходимо. Но человеку – тяжело. Могучий инстинкт хищника толкает его вырвать с кровью и мясом всё, что хочешь, через чей-то труп. Но не менее могучий инстинкт стадности или стайности – рождает воспетый фашистами «солидаризм» с теми, кто оказался, может быть, совсем случайно, – но поближе...

Вот твой сосед. И тебе нужно отнять у него дом, участок, заработок, всё то, чем он жив, – чтобы ты сам мог этим жить. Не для того, чтобы его разорить, нет, а чтобы самому обогатиться!

Но ты знаешь его с детства. Он всегда рядом. Он не просто тебе шапочно знаком, он вырос у тебя на глазах, он говорит на твоём языке, думает в точности, как ты...

А вот жид Моше Зюйс – и даже не в далёкой колонии, а под боком. Но чужой. Всем чужой – и лицом, и одеждой, и душой, и мыслями. У Моше Зюйса тоже есть что отнять. Но при этом Зюйс живет в замкнутости еврейского снобизма и изоляционизма. И вера другая, и раса другая, и книги другие, и мечты другие. Его давить проще – особенно если вы это делаете вместе с хорошо знакомым тебе соседом. Договорившись на пару погреть руки в могиле чужого и незнакомого человека...

И является, к примеру (чего далеко ходить?), «Антиквариат Клотце и Редзет», который сам для себя неожиданно (но ведь дарёным коням в зубы не смотрят, а под хвост тем более) оказался недалеко от Маузерпарка, там, где в него вливалась, тренькая звонками велосипедистов, велотрасса «гитлеровских физкультурников» с Карлштрассе. Если эти «черти спорта» не крутили педали, беспрестанно дёргая спусковые крючки звонков на своих рулях, то они маршировали, бодро вбирая в ряды лающие германские команды своих правофланговых, и это

было утомительно. Особенно когда шли «сыны Марса», от досады за беспокойство мстительно прозванные Редзетом «сынами Маркса».

Вослед «сынам Марса-Маркса» шли «дочери Венеры», и это было уже более увлекательно, потому что нацистская «Венера» одевала своих дочерей в короткие чёрные шортики и обтягивающие белые майки со свастиками, и у каждой очень спортивно, напоминая рекламу футбольных мячей, маячили выдающиеся груди аппетитных форм...

Не путайте Маузерпарк с современным Мауерпарк, после войны они поменялись местами: один исчез, другой появился. А при мне там, где сейчас Мауерпарк в богемном Пренцлауэберге, берлинском Монмартре, – громоздилась высочайшая, скучная и мазутно-заляпанная железнодорожная насыпь, упиравшаяся в самый грязный, грузовой вокзал-терминал, давным-давно, кажется, ещё при кайзере, закрытый для пассажирских перевозок.

Там бы антикварам было бы в наши годы нечего делать, да хитрым евреям Зюйсам и не пришло бы в голову там открывать лавочку! А вот в прогулочной зоне, откуда вытекала, впадая в Карлштрассе, толпа состоятельных берлинцев с фолкс-гуляний у Радиобашни (ритуал, как и многие другие, для статусных берлинцев почти обязательный), – антикварная торговля шла бойко. Напротив нас расположился фешенебельный автосервис, в который не прекращалась очередь горбатых «жуков», и тоже – это же сразу заметно! – процветал...

Да, маньяку легче не знать имени своей жертвы. Жертва должна быть чужой: без имени и без судьбы.

Иногда человек сделал свой выбор прочно и вроде бы давно – как мой Теодорих фон Редзет, для которого «Совдеп» – ругательство, а частное предпринимательство – «основа природы человеческой». Но, не отрекаясь от этого, он вдруг обнаруживает пропасть между лживостью мошенника, обходительно окучивающего жертву, и прямым, топорным ударом между глаз этой самой жертвы...

– Не смотри им в глаза! – советуют психологи «свободного мира». – Ты их обокрал потихому, и они где-то там померли, а ты сбежал и не видел, как они умирают, и всё чинно, благородно, по-старому, потому как чего не видел – того, может быть, и нет. А вот если тебя запереть в одной с ними комнате и заставить наблюдать все их невежливые корчи обобранных – могут нервы сдать...

Фюрер, как высший авторитет Рейха, сказал, что остзейский барон владеет священным и высшим правом забрать всё имущество жидов, убив при этом самих жидов. Не имел ни гроша – а тут алтын! Был огромный и набитый роскошью магазин чужим, а стал твоим...

Фон Редзет, вместо того чтобы убить жидов, посмотрелся им в глаза, особенно в детские глазёнки, и в итоге теперь сажал за один с собой стол в задней укромной комнате, половником разливал им по-братски суп из старинной глазированной супницы. Сыну и двум дочкам Зюйса приносил сладости...

– Как тебя зовут, малышка?

– Ривка... – отвечает напуганная малолетка с глазами больного оленёнка и с куклой под мышкой.

– А тебя, крепыш?

– Зама... Самюиль...

– А чего дрожишь? Страшно?

– Страшно, дяденька...

– Ну, да ты юн, послушай старика: привыкать надобно, жизнь она вообще страшная штука...

– Вот, ты видишь?! – оборачивается ко мне фон Редзет, и в его голубых балтийских глазах дрожат кристаллики слёз. – Куда мне этот выводок девать, Саша?! Я не хочу за них в гестапо попасть, но и сдать их туда – тоже не могу, понимаешь?

Жертву удобно не знать лично. Тогда не возникает слезливых аналогий между её детьми – и собственными, ради которых ты в общем-то и орудуешь штыком и прикладом... Маньяку легче убивать чужих, чем знакомых, далёких, нежели соседей, и это факт, который не требует подтверждений, ибо на самой поверхности психологии лежит.

Но хищнику нужно кого-то убивать – и он облегчённо вздыхает, если этот «кто-то» не его родной брат, а хотя бы троюродный кузен. Чем дальше от тебя родство с жертвой – тем легче играть в социал-дарвинизм борьбы за жизненное пространство – «Lebensraum».

И когда капитализм в его новом обличье сказал немцам, что можно – добычи ради – убивать евреев, славян, ещё кого-нибудь косоглазого вместо ближайшего соседа-немца, то немцы вздохнули с большим облегчением...

Незадолго до нападения на Советский Союз Гитлер произнес свои знаменитые слова: «Борьба за мировую гегемонию в Европе будет выиграна путем обретения русского пространства... Русское пространство – это наша Индия, и так же, как англичане правят там горсткой своих людей, так и мы будем править этим нашим колониальным пространством. Украинцам мы привезем головные платки, стеклянные бусы как украшения и другие вещи, которые нравятся колониальным народам».

Свое представление о будущем русских людей Гитлер передал в другой известной формулировке: «Нашей Миссисипи должна стать Волга, а не Нигер».

Река Миссисипи – если кто забыл – была той границей, за которую третий президент США Томас Джефферсон собирался изгнать индейцев. Гитлер был убежден, что англосаксы, которые «сократили численность миллионов краснокожих до нескольких сотен тысяч и держат скромный остаток в клетке под наблюдением», подали немцам правильный пример того, как нужно поступать с русскими. По его мнению, «на Востоке Германии» (то есть в России) подобный процесс должен был стать «повторением завоевания Америки».

По разным причинам, чаще всего конъюнктурным, у нас редко говорят, что гитлеровский нацизм, в целом европейский фашизм, – всего лишь реплика, контрафакт с более раннего и оттого более отточенного британского колониализма.

Ведь из всех колониальных стран Англия наиболее последовательно проводила политику геноцида в своих колониях. Колонизаторы истребили больше 15 миллионов коренных американцев, так что в США и Канаде, в отличие от Южной, испанской Америки<sup>5</sup>, индейцев почти не осталось. Англичане придумали первые расовые законы – запрещавшие что-либо, кроме истребления, скажем, ассимиляцию туземцев. Например, закон Массачусетса запрещал индейцам входить в Бостон.

В Австралии, где до прихода англичан проживало около миллиона человек, осталось не более 50 тысяч аборигенов. Коренное население Тасмании уничтожили полностью, не оставив ни одного (!) человека. Что касается индийских колоний, то всего за 40 лет, с 1881 по 1920 год, в Индии выморили около 165 миллионов человек. Уже в середине XX века правительство Черчилля организовало очередной голодомор в Бенгалии, прямыми жертвами которого стали около 4 миллионов человек. Жуткие фотографии показывают нам города, заваленные трупами и засиженные множеством птиц-падальщиков. Между тем в Бенгалии пищи вначале было вдоволь, голод же вызвали целенаправленные действия британских властей и рыночные спекуляции<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> В странах Латинской Америки индейцы и сегодня составляют от 60 до 75 % населения.

<sup>6</sup> За первые семь месяцев 1943 года из голодающей Бенгалии было вывезено 80 000 тонн продовольственного зерна. Черчилль применил тактику выжженной земли. В частности, были конфискованы все лодки, способные перевозить более 10 человек (всего 66 500 судов). Это нарушило систему внутреннего водного транспорта, поскольку жители использовали лодки для ловли рыбы и доставки продуктов на рынки. Индийский экономист Амартия Сен утверждает, что голод в Бенгалии был вызван экономическим бумом в городах, который поднял цены на продукты питания и тем самым обрёл миллионы сельских тружеников, чей доход остался неизменным, на голодную смерть. Британское правительство могло помочь колонии продовольственной помощью, но оно собственными руками заблокировало помощь – потому что такова была его цель.

Потому, когда мы говорим о гитлеризме – мы не вправе забывать о его «старшем брате», исторически более удачливом – британском колониальном Рейхе. Гитлер лишь был их учеником, что и сам охотно признавал. Его глупую «Майн кампф» у нас, может быть, потому и запретили, чтобы выгородить англичан, поскольку там он именно об этом пишет!

Капитализм даёт человеку лёгкий, быстрый и очевидный путь огрести вымороченную собственность через трупы. А нацизм переносит эту погибель куда-то в чужую страну, на другой континент, к индусам и китайцам, к славянским «недочеловекам», давая возможность жрать в три горла, и соседа при этом не съесть, умиляясь бандитской «солидарности» с ним!

А чтобы совсем не убивать ближних, нужно выйти из капитализма, но этого очень не хочется, потому что тогда придётся забыть не только о людоедстве, но и о богатстве, превосходстве, очевидно-зоологически-желанном доминировании...

Нацизм на моих глазах удовлетворил сразу два базовых запроса животной природы человека: быть другом окружающих – и пожирателем себе подобных. Никакая иная идеология не может дать и то и другое в одном комплекте! Так, чтобы ты мог считать себя и образцовым гражданином Рейха, и при этом быть неистовым мародёром, набивающим карманы чужим добром, обеспечивая зажиточное будущее своих детей...

А немцы искренне верили, что будущее их детей, заквашенное на чужой крови и адском зле, взрастёт доброй опарой. Нетрудно было связать их крысиный оскал и самообманчивый культ тёмной ассирийско-финикийской вечности, овладевший ими, когда во всех песнопениях и даже кабачном шансоне словосочетания «вечность», «навсегда», «во веки веков» – идут через строчку. Так чудовище, в которое мутировала Германия, – надеялось наивной первобытной магией словоговорения заморозить реальность, впечатать в камень свою одержимость, забетонировать свой бред, который и для современников-то звучал как жалкий лепет – на тысячелетия вперед.

Впрочем, он веками и повторяется: незатейливый, но навязчивый мотивчик в голове, «пановать» за чужой счёт, так, чтобы без труда, учёбы и ожидания, а сразу и только за право рождения, которое должны (ну должны ведь?!) оплачивать другие, «неполноценные» народы? И это, увы, работает.

Снова и снова голодранцы отворачиваются от идей равенства и справедливости, когда слышат от площадного демагога заветное: «каждому из вас будет поместье на захваченной земле и по три раба, для начала». Это самая первородная форма нацизма, мечтательного зева мелких лавочников...

– Такова жизнь собственника! – напутствовал навестивший меня Гриша Шварц, бывший Бостунич. Он был уже в чёрной, с иголки, форме SS высшего ранга, но и в ней походил на капитана одесской паромной переправы.

Он, к его чести, это понимал, а потому смешил «своих», узкого круга, специфической речью:

– Очень спасибо, могу вас ответить! Мимо этих вопросов оставаться нельзя!

Фигура и лицо Григория были столь нескладны, что даже гений модельеров любимого Гитлером дома моды *Hugo Boss*<sup>7</sup>, создавших необычайно удачный фасон для SS, не мог их облагородить. Шагая по нашему с Редзетом заведению, Шварц присвистнул, как мне показалось, не без зависти:

– Радость от захвата собственности всегда смешивается с горьким подозрением, что тебя турнут так же, как и «ея» предыдущего владельца...

---

<sup>7</sup> В 1931 году предприниматель и модельер Хьюго Босс вступил в НСДАП и оставался верен нацистам до самого конца. Хуго Босс считался любимым модельером Адольфа Гитлера, поэтому ему без труда удавалось получать самые крупные военные заказы. Компания разрабатывала и шила форму для вермахта и СС, а также для нацистской молодежной организации Hitler-Jugend.

Он купил у меня один из гулявших тогда по Рейху в великом обилии фальшивый значок НСДАП из орайда<sup>8</sup>, неотличимый от настоящего. После чего мне же продал точно такой же значок, но уже из чистого золота высокой пробы, выдававшийся ветеранам нацистского движения. Разумеется, мне пришлось солидно переплатить.

– Гриша, а смысл?

– В ритуале братания мы, ветераны национал-социализма, часто меняемся значками, как раньше менялись крестиками... – пояснил рачительный и бережливый Шварц. – Ты не только хорошо устроился, – бодрил он меня, облизывая украдом озирая углы с раритетами, – но и выглядишь хорошо, прямо местами бы поменялся! Настоящий *Freiherr*, как тебе от рождения положено!

Мы с ним так играли словами, для немцев неуловимо и непонятно. *Freiherr* по-немецки – человек благородного происхождения, дворянин, барон, слово почтенное, солидное, чинное... Ну а в России «фраер», сами знаете... Немного не то... Особливо на Привозе, откуда Гриша тянул свою тайную родословную...

Бывший Бостунич уже много раз приносил мне «из-под полы» золотые еврейские маген-довиды, серебряные иудейские меноры, подмигивавшие бриллиантами подвески-Хамсы, платиновые кольца с молитвами Каббалы – словом, «ювелирку» понятного для *Schutz Staffel* происхождения, но с малопонятными скидками.

Заговорщицким шёпотом, как принято у скупщиков краденого, я спрашивал:

– А мне зачем, Гриш?

– Переплавишь! – в рифму отвечал Шварц, посверкивая рунами высшего посвящения на чёрном бархате петлицы, заставляя вспомнить о «небе в алмазах» незабвенного Антона Палыча Чехова.

– А чего сам не переплавишь?

– Не хочу рисковать в моём положении. Дома сам не смогу, да и опасно. Третьим лицам поручить – ещё опаснее. А тебе – доверяю.

Да, он действительно мне доверял. В отличие от Гитлера, к которому я теперь, учитывая моё новое положение, отчаянно пытался втереться обратно в доверие, но безуспешно.

– Понимаешь, – объяснял мне по-приятельски Шварц, облокотившись на ореховый лаково-витиеватый прилавок Зюйсов, словно питейный завсегдатай на барную стойку, – наш фюрер гений. И в числе прочего он *ничего* не забывает. Вообще ничего, понимаешь? Сейчас ты в его глазах – человек, который раньше над ним посмеивался, спорил, а теперь пытается использовать личное знакомство, когда он встал у власти, примазаться... По-человечески, Ацхи, очень понятно, *Gedämpfte Rübe ist einfacher* [немецкий аналог прибаутки «Проще пареной репы»], но уважения не вызывает... Твои желания фюрер понял и попробует тебя использовать, как он использует фон Папена<sup>9</sup>. Но доверять... Доверять он уже ни тебе, ни фон Папену не будет никогда.

Так говорил Григорий Бостунич-бывший, один из основателей гитлеровского оккультизма в Третьем рейхе, и это же он повторил, когда неожиданно доставил именное приглашение на «Тиргартенскую презентацию» Мошамера. На ароматной цветной бумаге, заляпанной рейхс-орлами, и за подписью Гитлера.

– Факсимиле?

– Такие вещи он собственноручно подписывает...

– Ты же говорил, что он мне не доверяет? – обрадовался я.

---

<sup>8</sup> Орайда – металл, дающий максимально правдоподобную подделку золота, состоит из цинка+олова+красной меди.

<sup>9</sup> Франц Йозеф Герман фон Папен, немецкий государственный и политический деятель, дипломат. Использовался Гитлером как «наследие прошлого режима», но никогда не пользовался доверием.

– Я говорил, что он всё помнит. В том числе и твои насмешки над национал-социализмом. В том числе – и то, что мы с тобой были рядом, когда он в начале 20-х нарисовал свою Триумфальную арку, проектной высотой более 120 метров, а ты посмеялся над его мегаломанией...

– И теперь Людвиг Мошамер посрамит мой скепсис?

– Держи выше, Ацхи, там и сам Шпеер будет выступать, и первый камень грядущей арки заложит! Фюреру очень хочется посмотреть на твоё лицо в тот момент, когда ты поймёшь, что казавшееся бредом становится подлинной, объективной реальностью!

«Да уж... Чего не отнимешь у объективной реальности, так это её выхода из горячего бреда и кошмарных галлюцинаций», – подумал я. Но вслух не сказал. Мой длинный и неумный язык и так мне уже очень дорого стал.

– Не журишь, Ацхель, – по-русски, и даже малорусски, ободрил меня Бостунич на прощание. – Ты очень и очень нехудо прижился... Многие хотели бы поменяться с тобой местами... Деньги хорошие, ответственности нихт, тревог и опасностей нихт, лично фюрер германской нации пригласительные билеты тебе присылает с оказией, куда же лучше-то?

\* \* \*

В Берлине 1938 года мне очень хотелось всё «развидеть», почти до револьвера, приставленного к виску... Квартировал я тогда напротив универмага Wertheim на Ляйпцигер-платц, на втором этаже, и знаменитая ляйпцигер-сирень, обрамлявшая площадь дурманящим строем строго выровненного «каре», лезла ко мне букетно в окно наперевес, как настойчивый любовник к стыдливой даме сердца... Ну, или как фон Редзет с букетами дурацких коммерческих авантюр...

Туда прилетали проклятые птицы, и с этим ничего нельзя было сделать, помимо прочего, ещё и потому, что Гитлер возглавлял общество защиты животных и всячески покровительствовал «братьям нашим меньшим», запрещая шутать городских птах...

А птахи, как им положено, бездумно пели там, в цветах, в ветвях, обгаживая палисадник похожими на маленькие яичницы лужицами фекалий...

И у меня от их трелей случилось помутнение рассудка. Каждое утро – каждое! – я, прежде чем по-настоящему проснуться, просыпался в 1913 году, в помещицьем доме Званьевых, и минут пять, на каждой заре, искренне верил, что XX-го века не было... Пока реальность не сволакивала меня за руки и за уши в этот ад, в котором от 1913 года остался только художественный клёкот радующихся жизни, как и положено идиотам, птичек...

Тестю моему, Софочкиному папá, кажется, ещё с прошлого века принадлежало – правда, покупное, не родовое – имение Отцово-Зузлово в Верховско-Вольской волости Устюжинского уезда Новгородской губернии. Так вот, тишина там была эдакая... Нетихая... Рассыпчато-трескучая поутру птичьими голосами-драже...

Распахнутое в ночную прохладу, в утреннюю свежесть окно – и туманы над лугами, и в тумане коровы бродят, как в молоке, и деревья в этом тумане – как призраки, как дым, разве что чуть потемнее тумана, но такие же зыбкие... Иное – на низко посаженных, сырых островах, среди раздробленности бесчисленных медлительных животёпрых июльских протоков – расколется пополам, развалится на две стороны – да так и растёт, ни живо, ни мертво, разойдётся на крайности уставившимся в небо циркулем расщеплённого ствола, но все ещё умудряясь зеленеть... Прямо как мы в этом проклятом Берлине... Тут туманы индустриальные, машинным маслом пропитаны, а там, в глухом затерянностью своею Отцово-Зузлово, – коровьим...

Проснёшься – думаешь: где я? Зачем всё это? Берлин с его барабанщиками и хеопсиными кубатурами бункеров, цементными грибами, ползущими из земли на много этажей вверх?

Дядюшка Софи состоял в должности земского начальника 1-го участка Устюженского уезда. А тётка её много лет председательствовала в Вольском обществе пособия бедным...

На кой чёрт я сейчас всё это вспоминаю?!

Чтобы опять докучать Богу своими «зачем, почему, как так всё вышло, отчего так получилось?». Ох, и надоел я с этим нытьём ему за столько-то лет без права переписки...

Так что бишь я? Острова в Отцово-Зузлово... Ну, «острова» про них – громко сказать, ростом не вышли, над водой уровнем кочки болотной, а вот утки там знатные водились...

Двери в Отцово-Зузлово... Двустворчатый остеклённый и набухло трескавшийся звуком откупоренного шампанского при растворении выход на веранду... Забыть?! – Не получается... Он был прикрыт белоснежными шторами-«маркизами», чьи края ложились крупными воланами. А понизу их тонкие заводные складки Званьевы украсили кистями, позументами и бахромой...

В жару дощатая обшивка дома пьяняще пахла сухим и терпким, шершавым до жажды, до трескучести накалом старого дерева. А после дождей веранда волнисто и взволнованно вздыхала свежестью, сырым древесным здравием и отливала глянец. Старая скрипучая веранда, как в корсет, затянутая бечёвочками для выюнов, от потемневших перил до самой кровли, выступавшей заносчивым козырьком... Видимо, тесть хотел утопить веранду в тенистой зелени, но выюны, в отличие от верёвочных струн, тянулись худо, нестройно, отчего и казалась веранда птичьей клеткой, вынесенной «подышать» на свежий воздух...

А зимой я там не бывал. Зимой в уединившемся от всего мира отшельником старом барском доме было, поди, как в могиле, а осенью – промозгло, но летом... Летом было хорошо до мурашек по коже...

Эту барскую дачу и в 1905 году, когда помещичьи имения горели, как свечки, не сожгли, по-моему, только потому, что все забыли о её тихом, травоядном бытовании в запущенных зарослях глуши, отросшей из бывших садов и угодий...

А проклятые птицы Лайпцигер-платца поют себе утром, оскорбляя мои чувства своим сходством с теми птицами Отцово-Зузлово, и мне каждое утро грезится, что, откинув душное стёганое ватное одеяло, я сейчас всуну ноги в кокандские кожаные узорчатые тапки. И шаркаю пить кофий в гостиную усадьбы Отцово-Зузлово, с молодой женой и тестем, и тещей, и чинной их прислугой... И все они живы...

Но, как пташку кошка, когтистой лапой меня хватает в районе сердца Берлин 1938 года, и развеивается сливочный туман Отцова-Зузлова, и нет мне больше ни отцов, ни зузел, хотя я не знаю, что такое «зузло».

Зато, увы, слишком хорошо знаю, что такое фюрер, гестапо, SS и расширенные зрачки сходного с кокаином, восторженно-придурковатого обывателя, которому наобещали с три короба славянских рабов после «Дранг нах Остен»...

Меня ведь на Ляйпцигер-плаце будят не только птицы. Намедни меня тут разбудила «крипта», тайная полиция, в самой среде ночи, бешено трезвоня в дверь и настаивая, чесночным перегаром мне в заспанное лицо, что я Генрих Шаркман.

– У меня брат... – нервно зевал я, неумело пряча страх под деланым равнодушием, – младший... Генрих... Но он далеко. И не Шаркман. Он же не девушка, чтобы фамилию сменить при замужестве...

– Перестаньте валять дурака! – злобно кричал мне старший «крипты» (а это даже не гестапо, классом пониже). – У нас не ошибаются! Вы Генрих Шаркман и обязаны ехать с нами!

Шаркман был моим соседом. За перегородкой я иногда слышал его тяжёлый, околючахоточный кашель по ночам. Мы мало общались, но в целом, несмотря на слабую грудь, Шаркман был очень жизнерадостным бюргером. При каждой встрече он мне улыбался до самых своих оттопыренных ушей и махал обеими руками. Словно бы весело, улыбчиво сдаётся в плен...

Я сразу понял, что «райхскрипта» в темноте (филаменка на лестничной клетке перегорела) ошиблась дверью, но Шаркмана сдавать совсем не хотел. И потому плёл всякую околесицу про его тёзку Генни.

– Предъявите ваши удостоверения! – потребовал крипта-офицер в сером, дешёвом и мятом, словно с чужого плеча снятом (а вдруг и так?), двубортном костюме.

Я пригласил их в квартиру, усадил за круглый стол в гостиной и пошёл в гардеробную, где у меня хранился в платяном шкафу ящик с моими документами. Отсутствовал две секунды, но когда вернулся – застал нелепейшую из картин. Нацисты под моим бордовым абажуром, раскрашивающем их грубые лица в маски весёлых румяных упырей, вытянулись в струнку и смотрят на меня, как на воскресшего в морге, выпученными глазами.

Ах, вот оно в чём дело! За моей спиной, куда замороженно сходились их взгляды, на цветастых обоях висела фотография из Мюнхена начала 20-х: я и молодой Гитлер.

– Вот мои документы! Я – барон Ацхель Теобальд Вильгельм Лёбенхорст фон Клотце. Убедитесь – и оставьте меня, господи...

– Простите, барон! Это наша большая ошибка! Мы очень виноваты, вломившись к вам, потревожив ваш покой, виновные будут наказаны... Какой у вас квартирный номер?

Я молчал.

Но они и сами догадались, уходя стыдливим гуськом, без моих подсказок...

Позже, я через Бостунича-Шварца выяснил, что Генриха Шаркмана взяли совсем не за еврейское происхождение, тут он был чист в своей арийской швабской безусловности. Его арестовали по другой статье. Родственники настроили на него донос, что он «выслеживает иностранные вражеские радиостанции», не сдал радиоприёмник мировых волн, а прослушивание таковых строго запрещено. И с 1938 года проходит по статье «государственная измена». Кроме того, у Шаркмана преступно хранится коллекция граммофонных пластинок американской музыки, джаза и свинга, а это нарушение нормы рейхсзакона о запрете слушать «негритянскую музыку».

– А у него прямо на обложках пластинок толстощёкие негритосы в трубы дуют! – сказал мне Бостунич, чуть виновато пожимая плечами. – Так прямо и нарисовано, Ацхи... Сам виноват, с поличным...

Больше я своего малознакомого соседа Генриха Шаркмана никогда не видел. И был рад одному: что очень мало его знал и очень шапочно с ним был знаком...

И теперь каждое утро, уже не думая встретить на лестнице или в молочной лавке Шаркмана, я, встав, после небрежных гигиенических процедур иду вовсе не в пахнущую старым деревом и старой обоей кожей помещицью гостиную Званьевых, а под булыжниковые своды облюбованной «Сосисочной» – позавтракать в немецком каменноугольном стиле.

Здесь ко мне присоединяется старина Теодорих, потому что его жена больна и «теперь не готовит». Не помню, когда бы она готовила – может быть, она у него всё время больна, но зачем тогда женился?

Совет да любовь у них налицо: он постоянно говорит о ней, ищет ей лекарства, в том числе и через моё посредство, и тем бездумно, неосознанно подчёркивает моё одиночество...

– Когда я жил в России, – сознался мне Редзет, с брызгами надрезая сочащуюся туками знатную сардельку, – мне там прогрессисты все уши прожужжали про классы, буржуазию, пролетариат... Я почти уже им и поверил, Саша... А теперь – та-д-аам! – посмотри вокруг! Где пролетариат? Какая буржуазия?! Монолит, мать его... – И дальше Тедди выражался непечатно.

Он был очень мил, этот Тео-Тедди, постаревший, обрюзгший, словно бы заплаканный, в меланжевом прохладном костюме, просторным кроем и полосатом как пижама. И в продолговато-овальных тёмных очках, какие раньше носили царские шпики, да и то, по-моему, только в воображении господ-революционеров...

– Ну... – пытался я обелить профершпилившихся марксистов, которым ныне служил, – классовая борьба действительна для замкнутого общества, где она доказуема простой арифметикой. Если притока со стороны нет, то чем больше взял один, тем меньше осталось другому, и конфликт на этой почве действительно неизбежен...

– А если есть приток? – спросил Теодорих, небрежно передавая уже изученное вдоль и поперёк сафьяновое «die Speisekarte» [меню в немецких ресторанах] кельнерше.

– А если есть приток извне, то классовая борьба становится неактуальна, грабить ловчее бандой, банде нужна солидарность, хозяин выступает уже не угнетателем, а дарителем с меча... Древний феномен, так родились феодализм, колониализм, теперь вот наш обожаемый фюрер...

– Но если подумать... – шмыгал Редзет широким в хряще норвежским носом, – планета Земля она же тоже... Как бы замкнутая система...

– Бесспорно. Как бесспорно и то, что всяким фюрерам этого не объяснишь!

Мне нужны были силы, чтобы выжить в иступлённой и исСТРУПлённой истерии оголтевшего в плотоядной жажде грабежа и слипшегося в неделимый бесклассовый ком германского общества. Я находил эти силы, когда, проснувшись в Отцово-Зузлово, открывал тяжёлые веки в Берлине, тем, что шептал сам себе:

– Я глаза и уши товарища Сталина!

Но затем приходило разъедающее душу сомнение: в чём польза от слепых глаз и глухих ушей? Дёрнул же меня чёрт издеваться над нищим Гитлером – что теперь встало между мной и рейхсканцлером непреодолимой стеной снисходительной, но оттого ещё более монолитной обиды параноика...

Личное приглашение на презентацию закладки первого камня в невообразимо-грандиозную триумфальную арку могло многое изменить...

## 4

– Ого, какая красotka! – бурно отреагировал фон Редзет на девушку, издали, с другой стороны мостовой помахавшей мне рукой. – И это у нас?! Неужели прорыв в обете безбрачия?!

– Она из братской Финляндии! – ответил я уклончиво, прекрасно понимая, что приятеля совсем не её происхождение интересует.

– Чем занимается?

– Художница, но больше, по-моему, в поисках арийского жениха...

– По-моему, она его уже нашла! – лукаво улыбнулся Редзет, глядя на меня умиленно.

– Ты думаешь, Тедди?

– А ты сам как думаешь?

– Её фамилия – Халла, – снова уклонился я, в несвойственной прежнему мне подростковой стыдливости. – В переводе с финского – «Холодная». Иногда я дразню её, называя «Халвой». А иногда «Вальхаллой». Чтобы подчеркнуть мою верность идеям фюрера даже в интимных альковах!

– А она понимает по-русски? – усомнился Редзет насчёт «Халвы».

– Естественно, Тод, она понимает по-русски, Финляндия – часть Российской империи...

– Была...

– Ну, для тебя, может быть, и была...

– Я не хотел обидеть твоих имперских чувств, Саша, я к тому, что, судя по возрасту, Романовых на троне она не застала... Впрочем, не моё дело, совет вам да любовь, совет в хорошем смысле слова, не пойми как «Совдеп»!

Тут наши дружеские мужские фривольности оборвались, потому что Аннэ Халла, она же «Халва», она же «Вальхалла», перешла улицу, лавируя в транспортном потоке, и обняла меня с наивным, искренним и трогательным «чмоком» в щёку.

Она одевалась неброско, но простое шифоновое светлое платье с чёрным отложным воротничком подчёркивало своей простотой её изящество, а особенно – её тонкую талию, перехваченную по моде тех лет узкой шёлковой ленточкой контрастного пурпурного оттенка.

– Ох, а дел-то у меня, дел! – кудахтисто засуетился Тедди. – Я в аптеку к Мюрреру, знаешь, Ацхи, на углу там, мне он для жены один британский препарат обещал достать в обход санкций...

Я привстал навстречу Аннэ, обеими руками охватив её стройную фигурку, как грубо говорят – облапав. Словно обыскиваю... Способствовало этому и то, что Редзет стремительно ретировался, с глубочайшим тактом понимания излишности третьего в сложившейся ситуации.

– Как тебе мой новый цвет волос? – интересовалась легкомысленная финка, разбойничьей «финкой» выскочившая в руке судьбы, поджидавшей меня в тёмной нацистской подворотне. Острая, как лезвие, в том числе и на язычок, умная, гранёная профилем, но играющая в «эмансипэ», и для того даже курившая, притворно, через кашель, тонкая с виду, железная по своей сути, моя Аннэ Халла...

– Великолепен, как и предыдущий! – сознался я. – И как ты в целом!

– Ладно уж... – отмахнулась она. – Куда мы сегодня пойдём, милый?

– К тебе, Аннэ...

– Но в выходном Берлине так много интересных мест!

– Интереснее, чем у тебя, для меня ничего нигде нет...

– Ох, какой же ты прилипчивый... – кокетничала финка, холодный нож, вонзившийся совсем недавно в мои чувства. И мы, не стесняясь всем показывать, какая мы гармоничная парочка, в обнимку шли к ней домой. И она мне улыбалась, тянулась ко мне, прижималась всем

стройным упругим телом, стискивала мою руку в своей узкой прохладной и нежной ладошке, шептала ласковый вздор на ухо, но только до тех пор, пока...

Пока высокая, массивная и глухая дверь из дуба не захлопывалась за нами в тускловатой, завешанной по стенам каким-то малонужным обывательским барахлом прихожей её – по правде сказать – скверно обустроенного гнёздышка.

Не скрывая брезгливости, холодная Халла (дословно с финского – «девушка-мороз») стряхивала с себя мои объятия, как что-то липкое и противное.

– Саша, всё, всё, нас уже никто не видит! Кончай играть, займёмся делом!

Она совсем меня не любила. И более того, наоборот: скорее презрительно ненавидела. Если бы не её задание из «Центра» – за попытку даже касательного прикосновения к ней я получил бы пощёчину.

Аннэ Халла была связной. Тем нервом, который соединяет глаз государства с мозгом в Кремле...

\* \* \*

Тем жарким и всемирно-опасным летом мы с ней обычно встречались «с обнимашками» в живописном месте, на станции Фридрихштрассе, к северу от подземного перехода, и взяв оттуда таксомотор, устремлялись на пляж Ваннзее, радуя таксистов своей влюблённой романтической легкомысленностью.

На пляже мы, как вы понимаете, не только и не столько купались (её точёная фигурка в глухом купальнике, даже вегетарианских фасонов середины века, была восхитительна), сколько общались по делу.

Для этого нам служила одна из множества «корзинок блаженства», которые тянулись вдоль берега. До сих пор на каждом немецком пляже стоят плетеные полосатые корзинки от ветра. Мы с Аннэ шли поближе к глухой кирпичной стене зданий, которые фривольный современный язык назвал бы «раздевалками», а мой архаичный, чопорный – по привычке именует «переодевальнями». Тут было очень укромно.

Корзина предназначена для одного загорающего, но влюблённые туда обычно садятся вдвоём и могут шептать милые глупости друг другу на ушко. А горожане, видя четыре ноги из плетёного шезлонга, метров за тридцать обходят солнечный альков, из деликатности, у немцев, кстати сказать, не менее знаменитой, чем их плотское сладострастие...

То, что шептала мне на ухо, прильнув и обнимая, шkodная Халла, – было не милым и не глупым. Телеграфно-краткие шифровки. Я старался отвечать ей тем же, а при попытке свернуть к личному угрожаем был «получить на орехи», с неснимаемой улыбкой и развеваемыми по ветру длинными роскошными волосами моей связной...

Когда мне нужно было передать что-то вещественное, что-то более объёмное, чем крошечную шифровку «рот в рот» при поцелуе, – я звонил к ней домой и говорил, что «приеду на вечер». Она этого не любила, но – дисциплина в наших рядах прежде всего!

И я возил ей самые разные вещи, о некоторых и доселе вспоминаю с трепетом...

Исторический факт, который потом скрывали все, каждый по своим причинам, но сплотившись в общий заговор молчания: гитлеровцы первыми задумали воздействовать на русского человека «старой ленинской гвардией». Тайно собрали несколько троцкистов, хорошо знающих стилистику большевизма, скрывали их связи с рейхом, зато совсем не скрывали и повсюду раздавали их плакаты.

На картинке в 1917 году суровый матрос даёт суровую затрещину попу. Поп в процессе падения. Слева от этой картинке другая: военный служащий в сталинской форме тянется во фронт перед попом и рапортует: «Здравия желаю, товарищ священнослужитель!»

«Старая ленинская гвардия», по благословению нацистских кураторов, планировала наводнить СССР множеством подобных картинок, посвящённых переменам в отношении советской власти к генералам, иностранцам, интеллигенции и т. п.

Едва лишь заполучив образец плаката, я поспешил к Аннэ Халле. Знал, что попаду ей в большое место, и действительно: попал. Как и рассчитывали нацистские сеятели смуты, выдумавшие «старую ленинскую гвардию».

Её бледное лицо северянки стало злым, что особенно подчеркнуло волнительную припухлость малиновых губ.

– Вот что абвер задумал запускать в России! – выпалил я с порога.

– И с этим ты нёсся ко мне через весь город, рискуя всем, как с крайне важным сообщением?! Очень своим попам сопереживаешь, как бы в Советском Союзе не сорвалась их реабилитация?!

– Понимаешь, Анненька, вы, коммунисты, настроены на идейную борьбу. Вы ждёте, что враг станет вам расписывать прелести помещичьего строя или фабрично-заводского рабства. А враг совсем другой, не похож на вас!

– Даже такая тупая сука, как я, это понимает, представь себе!

– Ничего ты не понимаешь! Ваш враг дарвинист, и для него главное – победить любой ценой, чтобы доминировать. Для него любая обобщённая идея – только прикрытие, овечья шкура для волка, монархистам он сулит монархию, демократам – республику, коммунистам – старую ленинскую гвардию, для того, чтобы в итоге предать всех. Я душой болею за наше общее русское дело, и я считаю, что идея Гитлера использовать против Сталина «старую ленинскую гвардию» – очень и очень опасна для будущего нашей страны! Это самый короткий путь для смуты в русских головах, и гитлеровцы его нашли...

Аннэ отступила на два шага и оценивающе, придирчиво осматривала меня, будто приценивалась в галантерею к новой шляпке:

– А ведь ты белый, Саша... Насквозь белый... Смотрю на тебя и думаю: что такой, как ты, делает среди нас? Внедряется?

– А если я скажу, что люблю Россию?

– Не поверю. Нет никакой России. Есть Россия красная и Россия белая, и они враждебнее друг к другу, чем Германия или Англия к любой из них...

– Хорошо, скажу иначе, Аннэ. Я коммунист не потому, что я коммунист, а потому что мне симпатичны люди, стремящиеся сделать что-то для всех, а не только для одного себя. Я прожил жизнь среди тех, кого правильнее всего называть циничными мошенниками, и для них любая обобщённая идея – ложь для дурачков. Если бы эти люди служили царю или Православию, как уставом положено, – никакой революции бы не понадобилось. И не случилось бы. Но они никогда ни во что не верили и считали это своей «просвещённостью», они всегда всё использовали грязными руками: и монархизм, и христианство, и демократизм... Судя по процессам в Москве, они и коммунизм попытались так же пользоваться под себя, как прежде использовали царизм...

– Буржуазная пресса врёт о московских судах! – твякнула Анна «Халва».

– Знаю, знаю, Анненька, врёт как дышит! Но и безо всякой буржуазной прессы люди всегда делятся на два лагеря: те, которым дороги святыни, и те, кому безразлично, из чьих рук получать поместья! Вот они здесь и сейчас, «однокласснички»-то мои, обожествляют язычника фюрера. Они успеют ещё десять раз поменять хозяев, уповая, что в чьём-то обозе всё-таки доедут до своих дворцов, выгнав оттуда кружки пионеров, и опять там оргии начнут закатывать... Меня, Аня, агитировать незачем, я среди них жизнь прожил и прекрасно знаю: им любой батька, кто с их частной собственностью смирится...

– А ты нет? – ядовито шурила она васильковые, разяще-весенние глаза.

– А я нет.

– Ну, твой Бог тебе в помощь! – была она беспощадна.

Я – видит мой Бог – с первого дня пытался расположить её к себе. Совсем недавно, мечтая наладить отношение с прекрасной напарницей (тем более, что и для службы лучше, когда напарники дружны), я раздобыл русской стерляди.

Сложными путями купил мелкую стерлядку, и даже не ради экономии, хоть стерлядь, как бриллианты, – с уменьшением размера теряет весовую стоимость. А просто потому, что Берлин – не Сызрань, и тут порядочной стерляди не добудешь.

Эту стерлядь я принёс Аннушке, чтобы, говоря её марксистским языком, «совместное домашнее питание нас объединяло», а поскольку она всё же финка, внезапная, как финский нож, и острая, как финский нож, – старательно разъяснил ей русскую премудрость. Сидел на полосатом палисандровом диване, нога на ногу, ворковал преподобно, не столько для Халвы, сколько для собственного успокоения.

Я старался не показывать, что близок к сумасшествию, осаждаем по ночам мутными, обволакивающими и бессвязными кошмарами, я старался казаться сильным и бодрым, но ведь себя не обманешь: от многолетия окружающего кровавого безумия я неумолимо сползал к помешательству.

– Послушай, дочь моя, стерлядь – рыба дорогая, банкетная, будь с ней вежлива! Варить её следует в смеси воды и огуречного рассола, да так, чтобы онный был ниже уровня рыбы. Тогда бульон не станет вымывать из рыбы соки «ея», и она сварится как бы на пару...

– Может, её тогда просто сварить на пару? Без как бы? – насмешничала ледяная Халла.

– Ты не умничай, ты мне в дочери годишься, а делай согласно старинной мудрости, кою лично я, Анненька, извлёк из таинственного петербургского гримуара под именем «Полная, для всех состояний, ручная кухмистерская книга, или Опытный кухмистер» тыща-осьмисот-шестьдесят-четвёртого лета издания.

– В стране, – съязвила она, – в которой девять десятых были неграмотны, недоступность стерляди компенсировалась невозможностью о ней прочесть!

– Ты опять за своё?! – покачал я головой с мягкой укоризной. – Давай стерлядки выкупаем, может, у тебя в мозгах вывих-то немного и вправится!

На обложку стерляди я принёс, как у русских заведено, не поскупившись, – «рыбий клей», или карлук, драгоценнейшее в мире желе, добываемое только из плавательного пузыря осетровых рыб. В прежней жизни для меня были нередки суфле и даже кисели из карлука, теперь же зыбь его, умещавшаяся в ладошке, – наибольшее, на что могла рассчитывать моя ностальгия.

Аня Халва, противная девчонка, всё испортила. И стерлядь, и карлук. Она их попросту смешала и друг другом убила, сделав в итоге омерзительную рыбью кашу. Надо ли говорить, что все мои наставления проигнорировав?

Так и ребёнок не смог бы ошибиться. Это был – как говорим мы, сталинцы, – «акт вредительства на производстве».

– Ты понимаешь, – рычал я на Аню, – сколько денег, не считая моих нервов, ты одночасно умножила на ноль?

– Если тебе не нравится, как я готовлю... – изобразила Халла оскорблённую невинность, но при этом подозрительно отводя глаза, – то тебе лучше столоваться в другом месте... Тем более, нацистский режим тебя деньгами не обидел...

– Мне не нравится другое... – сказал я очень серьёзно. – То, что ты специально испортила стерлядь. Аннушка, мы находимся в логове страшного зверя, который в любой момент может убить нас обоих мучительной смертью, делаем одно дело, и твоя классовая антипатия очень ему вредит. Ты изображаешь мою невесту через силу, играешь, как в спектакле, и плохо играешь (тут я соврал – на людях она играла великолепно), и на этом мы рискуем проколоться.

– Может быть, ты прав, – призадумалась мстительная красотка, блондинка, но вамп (благодаря ей я убедился, что и так бывает, жизнь чудесами таровата). – Но что мне делать?

– Я не прошу тебя спать со мной в одной койке, но постарайся быть ко мне просто добрее.

– Хорошо! – Она стеснила руки на высокой упругой груди жертвенным жестом поджимающей губы решимости. – Я буду с тобой добрее. Я даже буду спать с тобой в одной койке. Если ты дворянской честью поклянешься, отвечая всего на один вопрос.

– Ладно, какой?

– Из всех твоих женщин, барон, хоть одна стала с тобой счастлива? Хоть одной из твоих женщин ты принёс что-нибудь, кроме горя?

Женская сила в женской слабости, и своей капитуляцией Аня Халва заставила меня капитулировать. Вопрос был прям, резок, вопрос был по существу, и вопрос не оставлял мне шансов.

Почему же я раньше об этом не думал? Ведь действительно, среди моих женщин не отыскать ни одной, кому я бы что-то, кроме горя, принёс... В этом, как смеялась надо мной незабвенная Оля Гнесина, «гареме из княжон, камергерш и популярных киноактрис» каждая осталась с разбитым сердцем, по-разному, но...

– Ты права, суровая Вальхалла, – поднял я руки с воображаемым белым флагом. – Действительно, я... Но я всегда списывал это на жизнь, судьбу, понимаешь? Я всегда полагал, что не я виноват, а каждый раз роковое сплетение нелепых случайностей...

– Случайности не случайны. И виноват именно ты, барон, а не сплетения.

– Кто так говорит? – вспыхнул я. – Ты, у которой молоко на губах не обсохло?

– Нет, не я.

– Тогда кто?!

– Классовая теория.

– Да твою мать!!! – взорвался я, на миг решив, что она издевается надо мной. Вставлять марксистские бредни в сложившийся, наконец, разговор по душам – не комильфо.

– А вот цена твоей веры, верующий! – снова сбрила она меня так же ловко и сноровисто, как казаки шашкой срезают фащину на фланкировке. – Матерщина – хула на Богоматерь. Вот какой ты православный – такой же ты и благородный...

– Аннушка, ну... – залепетал я. – Это же какое-то прокрустово ложе...

– Я допускаю, – добивала меня эта фанатичка, – что сам ты, внутри себя, совершенно искренне считаешь себя и православным, и благородным, и любящим ту девушку, которую делаешь несчастной... Это противоречие надстройки и базиса. Ты, барон, существуешь определённым образом, а думать о себе можешь неопределённо, что угодно...

Неожиданный аргумент, который заставил меня с меньшей иронией посмотреть на классовую теорию! Русский интеллигент ведь таков: какую бы чушь ему не сказали – он непременно задумается на тему «а может быть, так оно и есть».

Во всяком случае, попыток сблизиться с Аней Халвой накоротке я больше не делал. Как и отдалиться. Может быть, мы и не доверяли друг другу (точнее, Аннэ мне, я ей вполне доверял, да и кому не доверится смертник?) – но мы были нужны друг другу.

У меня уже состоялся разговор с ней, предопределяющий всё моё поведение:

– ... Японцы изо всех сил ищут осведомителя поближе к фюреру.

– Ну, надо думать...

– Задача – попасть в такие осведомители.

– Я не против, но как?! Явиться к японскому послу и предложить свою персону? Слишком топорно! Азиаты подозрительны и зачуют неладное...

– Значит, херр барон, надо искать способ тоньше...

– Значит, буду...

\* \* \*

Фокус в том, что Тиргартенская презентация архитектурной мегаломании проводилась в новеньком помпезном здании нового дипломатического квартала. В знак дружбы посольство Японии вызвалось её принять и разместить, чтобы придать событию «международный уровень». Если японцы увидят меня там, у себя в пенатах, в амикоше с Гитлером и его живодёрскими любезностями, – моё реноме сильно расширится в их узких глазах. Что – в решаемой теореме – мне и требуется доказать.

В том году Гитлер предоставил своим союзникам дворцы-подарки. Супротив японского возвеличилось столь же ампирное посольство Италии, в полном соответствии с так пугавшей Москву осью Рим – Берлин – Токио, и ещё источавшее строительные амбре.

Не затягивая, Гитлер заодно с подарком здания ещё и объявил японцев арийцами.

– Макаки теперь арийцы?! – спросил меня в кафе «Кельвин» за завтраком Теодорих фон Редзет, раскрывая свежую газету. – Но у них же, пардон муа, даже раса другая...

С некоторых пор мы с Редзетом частенько бывали в «Кельвине», облюбовав это тихое заведение, «утреннюю пташку», специализирующуюся на завтраках и десертах сладкоежкам. Нам – занятым ретроградам – нравился викторианский стиль обстановки: картины, зеркала, громоздкие диваны и кресла, располагавшие к неспешному времяпрепровождению. Умеренное количество настенных вымпелов со свастиками и рубенсовских (стилем, а не уровнем) мясистых плакатов, призывавших к беспробудному арийству, тоже выгодно отличало «Кельвин» от сродных ему полуподвальчиков, в которых нацистская истерия вообще продохнуть не давала.

Впрочем, и без нацизма немецкому завтраку хватает нелепых чудачеств, которые не обходили нас стороной и в «Кельвине». Много лет я прожил в Германии, но так и не понял, зачем немцы кладут клубничное варенье в мясной гуляш или приправляют соленые картофельные драники яблочным джемом. Видимо, путая с оладьями?!

В «Кельвине» мы с Тедди засиживались, беседуя и об этом, и о новостях, и просто о жизни, часа на полтора. Нам, антикварам, работникам с покойными поставщиками, куда торопиться-то? По крайней мере, так думал Тедди, не обременённый геополитическими терзаниями.

Про вёрстку японцев в арийцы я уже знал – но сделал вид, будто впервые слышу. Всячески изобразил изумление, а потом сыграл обывательскую реакцию:

– Разумеется, так может поступить только сумасшедший! Беда в том, что он и есть...

Я не стал договаривать, да и нет нужды. У нас теперь японцы – арийцы, черепахи – медведи, а верблюды, видимо, муравьи. Это легко проходило в обществе, уже опьянённом запахами крови большого мародёрства...

Я обманывал и Редзета, и себя. Гитлер не был сумасшедшим. Бесноватым – да, но то иное. А сумасшедшим – нет.

Гитлер не выпадал из апокалиптики XX века, он, наоборот, был средоточием и средосплетением всей этой апокалиптики, в полноте её зловещей, но непрерывной логики, ведущей от бездушных фабрик с бессловесными рабами к «фабрикам смерти», где из бессловесных стали уже делать мыло и абажуры...

– Ну как, Тео, чего нового у Бискупского? – привычно, с виду небрежно спрашивал я усердного, неукоснительного посетителя «русских вечеров», проводившихся местными «белыми» с попом и помпой.

– Ничего особенного, – неспешно отпивал Редзет свой кофе, закусывая маслянистой таралеткой. – Опять позавчерашние захватили трибуну.

Он широким жестом подозвал грудастую официантку в клетчатом красно-белом переднике и со шнуровкой на декольте, попросил подать ещё бухтелей, булочек-пирожных, очень похожих на русский кекс «соседки». И совсем потерял интерес к поднятой теме.

– Саратовские? – вынужден был я напомнить ему о траченном молью бомонде Бискупского.

– Самарские. – Он отмахнулся столовым волнистым по лезвию ножичком, которым намазывал на бухтели жёлтое, мягкое масло. – Гильдейские. Один рассказывал, как на Волге у почтенных владельцев пароходы отбирали! В его присутствии. Сам-то он парохода не имел, в конторе работал на одного такого оборотистого... За хозяина очень переживал! Ну как же, говорит, так можно?! Был у человека корабль, одно движение маузером – и нет корабля!

– Утопили?

– Нет, корабль-то остался, но не в собственности. Незакон, непорядок!

– Эка невидаль, – хмыкнул я, потягивая турецкий кофе из микроскопической, словно бы игрушечной чашечки, свойственной этой кофейне. – Кораблик отобрали! Можно подумать, что предыдущие владельцы этот корабль родили! Ляжки расставили, пукнули – вот тебе и пароход, Волга-матушка...

– Я примерно так и сказал. Но без газов.

– А оратор что?

– А он обиделся... Увы, природа человека: каждый, как только поймёт, что кража пошла в его пользу, – тут же переименовывает её в «справедливость»! Я это, Ацхи, не в оправдание большевиков, ты знаешь, как я к ним отношусь...

– Знаю, ты верный сын нации!

– Думаешь? – Редзет казался недоумённо огорошенным от такого лестного определения его скромной персоны. – Н-да... Если ты так видишь, то... Впрочем, я вот о чём... Если не хочешь сойти с ума – надобно хоть про себя молча да понимать: неспроста богатые богаты! Это же только кажется, что вот плывёт кораблик, и владельцу хорошо за то, что он владелец, а матросику или грузчику плохо, потому что они парохода себе не купили...

Старина Тео-Тедди аппетитно кушал и говорил так же аппетитно, как будто гренки икрой намазывал:

– Я ведь и до большевиков не раз видел, Ацхи...

– Будь здоров!

– Спасибо на добром слове, но это я тебя по имени...

– Я догадался, но здоровья много не бывает.

– Мне ли, с моей больной женой, этого не понимать, Ац... Саша! Так о чём я? О том... –

Он сделал шкодно-поучительное личико и страшные глаза: – О том, что отобрать корабль – минутный казус. А значит – не в кораблях дело, а в насилии, седом и косматом, как самая глухая первобытность! Если у тебя нет силы, то нет и корабля. И плакал твой гешефт!

– Ну, а коли сила в наличии?

– А если у тебя есть сила – то тебе и корабль не нужен: ты и без корабля отберёшь, чего захочешь...

## 5

Как и все маньяки-изуверы, Гитлер был очень ранимым. Потрошители потому, наверное, и становятся потрошителями, что чрезмерно переживают любую насмешку над собой, нудно варят в себе всякое колкое словцо, параноидально раздувают не только всякое возражение своему величеству, но даже и простую шутку.

«Aus einer Mücke einen Elefanten machen» [ «Делать из мухи слона»] – это, кстати сказать, исконно немецкая поговорка, попавшая к русским «по культурному обмену», как одно из петровских заимствований.

На церемонии представления архитектуры будущей «Столицы Мира – Германии» фюрер подходил ко всем, с ужимками, как и положено дергунчику-неврастенику, свойски жал, и даже энергично тряс, руку каждому. Его образ уже сложился так, чтобы потом не меняться: полувоенный мышино-серый двубортный френч с двумя рядами золотистых пуговиц, выстроившихся, как солдаты, в шеренги, а третьей шеренгой слева, от сердца, шла командирская линия: золотой нацистский значок, под ним эмалированный тевтонский крест и овальный медальон «чёрного ордена».

– Прекрасно выглядите, Клотце! – сказал мне фюрер обманчиво-поощрительно. – Как и положено барону! Занятия старьём в антикварном деле вас заметно омолодили!

Я и вправду неплохо смотрелся в своём, шитом на заказ, с немецкой тщательностью портного, иссиня-чёрном костюме, чем-то напоминая кинозвезд, среди которых мне довелось немало покрутиться. Пиджаки наши (имею в виду, мои и кинозвезд) в 30 годы стали существенно короче, а лацканы – безумно широкими, словно бы мы хотели похвастаться излишеством потраченного твида. Это была эпоха объёмных штанов, парусивших на ходу, про которые модники шутили: «гибрид костюмных брюк и галифе». Жилеты уже выходили из оборота, но по случаю большого официоза, например, приёма у фюрера, их ещё следовало надевать.

Сорочки я носил старомодные, со стояче-отложным воротничком, то есть таким, который совсем не покрывает галстука, отгибаясь кокетливыми уголками лишь поверху. А какая у меня была о те поры шляпа! Доселе помнят пальцы её мягкий ворс, узкополюй фасон, знаменитой тогда компании Dobbs, «королевы фетра», настолько плотного при ласкающей мягкости, что тулья идеально держала форму, а поля можно было загибать...

Да, я смотрелся неплохо, но стал смотреться гораздо хуже, не поменяв костюма, когда ко мне подошёл полковник свиты, Мартин Траппе, и шипящим шёпотом, со змеиной лаской в тоне, порекомендовал снять золотой значок ветерана нацистской партии.

– Вы никогда не состояли в НСДАП, барон... У вас нет права на ношение таких значков...

– Как вы смеете? – пытался я бурлить напускным негодованием (а душа ушла в пятки). – Я личный друг фюрера!

– Фюрер не забывает личных друзей, – адской куклой улыбался Мартин. – Именно поэтому с вами разговариваю я, а не полицейские. Но фюрер не забывает ничего. И фюрер очень хорошо отличает личные отношения от деловых и служебных...

Мне не было выхода, кроме как с позором снять покупной значок и далее изображать интерес к картонным поделкам будущих архитектурных ампирических излишеств в роли скромного частного антиквара. Прав черт Бостунич, фюрер ничего не забывает! Мой проклятый длинный язык испортил мне карьеру в царской армии, и в гитлеровской – тоже...

– Вот, господа, барон Лёбенхорст фон Клотце! Именно при нём, в его присутствии, ещё в начале 20 годов, я нарисовал впервые эту триумфальную арку! – вещал неузнаваемый Адик, ныне забронзовевший Адольф, изящной указкой с инкрустированной в рукоять свастикой показывая собравшимся трёхмерное изображение грядущего каменного монстра прусского

кубического духа. – Тогда, барон, вы не очень-то верили в торжество идей национал-социализма! Но... Сегодня, как видите, господа, барон, неоднократно критиковавший наши идеи, всё же с нами!

Что ж, горькую пилюлю я проглотил с достоинством, фюрер оценил и дал мне на десерт немного сладкого. Толку никакого, но приятно. Да и кто его знает: не будь мы знакомы смолоду, без его личного, хоть и брезгливого, покровительства, меня, может быть, упекли бы уже в застенки, тогда это в Рейхе споро вершилось...

Гитлер не обладал актёрскими данными, но очень любил играть: вся жизнь для него была сценой. Он ломко и гипертрофированно изображал «величайшего политического деятеля эпохи», а заодно стал теперь играть в вегетарианца. Юным, я помню, он жрал всё, что съедобно, потому, впрочем, что тогда ему случалось нередко и голодать. Теперь же богатый выбор в столовой сделал и его самого более взыскательным к транслируемому образу «защитника животных». Да, тяжкая ненависть к людям, свинцовая мизантропия, сложенная из немецкого душного солдафонства и биологического вырождения дегенерата, – у него загадочно компенсировалась постоянной заботой о «братьях наших меньших»!

Потому румяно запеченного, аппетитно благоухавшего тмином, традиционного *Sommergans'a*, германского гуся в яблоках, на которого в немецком дружеском кругу принято откладывать из кармана самые мелкие монетки весь год, а потом наслаждаться, – Гитлер не кушал. Монетки же, имевшие в бюргерской традиции даже особое имя – «*der Unität*», исправно вносил. Потому что дружба для него много значила. Но не всё, как я уже убедился...

«Гуся дружбы» – кстати, обложенного пышным венком дубовых листьев и превращённого тем самым в «*Rittergans'a*», нацистскую выдумку, незнакомую прежней немецкой кухне, мы хрустко разломали с вертлявым Геббельсом. Угощали в четыре руки итальянских и особенно интересных мне японских гостей церемонии, а Гитлер витал над нами, как дух, будучи в своём воображении и в мизансцене «выше всего этого».

Он клоунски, демонстративно – как у него было всегда, даже и в час смерти, по-нервовски закинул на плечо плед. Играл в озноб – изображая, скорее всего придуманную, простуду. Плед был неприятной расцветки, насыщенного, почти влажного на вид, сырого мяса с белесыми прожилками. Ощущение было такое, как будто перед тобой человек, обернувшийся в свеженарубленный бифштекс...

– В жизни есть только те, кто умирает, и те, кто убивают, – поучал он, кося блеклым глазом: записывают ли за ним? – А больше в жизни никого нет. И ничего.

– Те, которые убивают, – сами потом умирают... – осторожно поддерживал я беседу, стараясь не возражать, но всё равно, поневоле, возражая.

– Ну да... – безо всякого конфликта, запросто ответил он небрежным кивком. А потом выдал в себе по большей части тщательно сокрытого смертопоклонника: – Объективно у человека есть только один долг: умереть. Все остальные долги человек придумывает как отсебятину, субъективно и необязательно...

Мрачноватая сентенция, с которой спорить не только трудно, но и в высшей степени неприятно!

В его мире, как и в целом, в окружавшем меня душной пыльной плотной подушкой толще капитала, не было ничего, кроме смерти. В которой умирающие могут поменяться местами, отправив кого-то вперёд себя, но не более того...

Много лет спустя, попав на пенсию, которую, может быть, и заслужил, но уж никак не рассчитывал получить, я частенько думал на досуге о природе психических заболеваний. И особым образом: психиатры их видят в клинике, а я-то их видел повсюду вокруг себя, и даже без намёка на смирительные рубашки...

Сладковатым холодом струной натянутого ужаса гниёт внутри тебя понимание, что ты окружён сумасшедшими. И весь город вокруг тебя сошёл с ума, и страна вокруг тебя, и кон-

тинент... А если кто-то, кроме тебя, ещё и остался тут нормальным – то он спрятался в самом дальнем углу и старается там безнужно не шуршать...

Как же такое случается? «Речет безумец в сердце своем: нет Бога» – предупредил псалмопевец две тысячи лет назад. Это срывает психику человека с якорей, и дальше она уже вихляется под обостряющимся углом, до полного и окончательного психического вывиха, который, как доказали мои знакомства, – вполне может быть и коллективным. Бога-то «несть» – и пошли гулять по переулочкам кто во что горазд!

Одни вскрывают себе череп, чтобы посмотреть, как там внутри, – это чернокожие Габона<sup>10</sup>. Или, покрыв себя татуировками, втыкают себе толстую палку в нос, просверлив, без всякого обезболивания, собственный носовой хрящ.

– Зачем?!

– Надо! – скажут в ответ, и ещё таинственно улыбаются, насмехаясь над твоей непонятливостью.

Другие, с жёлтой кожей, – обматывают дочерям ноги тряпкой и ломают там все кости молотком, а потом туго пеленают, чтобы девочка росла с маленькой ножкой, «и будет ей счастье»<sup>11</sup>. Скажи такому человеку, что он клинический идиот, – обидится. Напротив, он считает идиотом тебя. И точно может тебе предсказать, что твоя, идиота, «дщерь» вырастет с большими ступнями, и не будет ей в жизни счастья...

А иногда людям сомнительно-арийского происхождения приходит в голову, что нужно убить всех русских. До кучи, ещё и поляков с евреями, но это уже на десерт. И их не переубедишь никакими аргументами логики, ибо, как китаец, дробящий кости своей доченьке собственноручным обухом, они тоже точно знают, что иначе счастья не будет...

И вот в чём тут дело. Всякое умозаключение, чтобы добраться до истины, должно начинаться с Абсолюта. Если же откладывать его от чего-то случайного и временного, то непременно придёшь к какой-то вопиющей нелепости. А безупречные логические переходы от случайного к нелепому убаюкают твою бдительность...

А я был годами плотно окружён людьми совершенно безумными и совершенно не понимающими этого...

– *Ihr solltet kein schlechtes Gewissen haben* [«Нет причин для болезни совести»]. Совесть – опиум нищих! – эмоционально, как всегда у него, воскликнул Геббельс, разламывая со мной гуся дружбы за две его ножки врасяг. – Совесть – попытка снять боль от своей второсортности, унижения. Мы, мол, правильно живём тем, что не живём. А тот, кто живёт и за нас и за себя, – неправильно.

«Шах и мат вам, атеисты!» – подумал я.

Но вслух, конечно, сказал иначе:

– *Und Sie besitzen unendliches Wissen, Doctor!* [«А у вас безграничные познания, доктор!»].

Если бы «совесть» по-русски звучала бы аналогично немецкому аналогу слова, то она звучала бы как «соведь». «Веди» – знания, и почти во всех европейских языках слова «совесть»

---

<sup>10</sup> В древнеперуанских могилах найдены черепа со следами прижизненной трепанации. На первый взгляд, это свидетельство расцвета древнеперуанской медицины. На самом же деле кусочек черепа извлекался у живого человека из магических соображений. Такое действие более пристало назвать жертвоприношением, а не медицинской операцией. О практике подобного рода среди негров Габона в начале нашего века писал Альберт Швейцер.

<sup>11</sup> Юн Чжан – китаянка, с 1982 года живущая в Англии, пишет в своем автобиографическом произведении, как её бабушке «в детстве по древней китайской традиции спеленали ступни шестиметровым куском белой ткани, а потом сломали все кости. День и ночь ноги нужно было держать забинтованными – только тогда ножки девочки становятся идеально крошечными, а сама она при ходьбе напоминает „нежный ивовый побег, овеваемый осенним ветерком“». В те времена, когда женщина выходила замуж, семья жениха прежде всего проверяла, какие у неё ноги, большие, то есть нормальные ноги были губительны для репутации всего дома. Когда девочке исполнилось 15 лет, отец продал её в наложницы к высокопоставленному генералу. Как пишет Юн Чжан, это была отменная партия, о браке со знатным господином не стоило и мечтать, а статус наложницы богатого человека был счастливым лотерейным билетом (*Юн Чжан. Дикие лебеди. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2008*).

и «сознание» синонимы. И в русском почти синоним. Тут очень важно это «почти». «Весть» – не совсем «ведение». Весть – нечто евангельское. Принесённое извне. От Бога. Немецкое же «Gewissen» – означает всего лишь пребывание в ладу со своими знаниями. Как и английское «Conscience»<sup>12</sup>.

«Соведь» – соответствие знаниям, а не «совесть» – соответствие вести двигало Паулем Йозефом Геббельсом всю его бесславную жизнь. Слово «совесть» «маленький мышинный доктор» (как дразнили Геббельса в молодости) сказал вначале по-немецки, а потом, с акцентом, но... по-русски!

И меня это не удивило: ведь я уже был с ним немного знаком.

По словам Карла Маркса, «английская республика при Кромвелле разбилась об Ирландию»<sup>13</sup>. Из нищих солдат, жаждущих справедливости и света в жизни, Кромвель сделал кроважидных грабителей. Нечто подобное сделали и нацисты в Германии с нарождавшимся социализмом.

С кем бы ни спорил человек – он всегда спорит с самим собой. Это верно и в целом про немцев, которые быстро от «советских пролетарских республик»<sup>14</sup> перешли к эсэсовским практикам. И конкретно про Геббельса.

Самое худшее, что сказано о русском народе, – сказано Геббельсом<sup>15</sup>. И потому трудно поверить, что до своего взлёта по карьерной лестнице нацизма, взлёта стремительного, как движение пушинки в заворотнях смерча, – Геббельс был страстным русофилом, поклонником Достоевского<sup>16</sup> и русской культуры.

В 1923 году он записал в своем дневнике: «Я – немецкий коммунист!» В 1924 году, когда произошло сближение Геббельса с национал-социалистами, главным в названии партии для него было слово «социализм», а «нацизм» стоял на втором месте.

Прочитав «Войну и мир» Толстого, Геббельс записал: «Я люблю всех без исключения людей, описанных Толстым! Все они настолько типичные русские, эти чудесные, импульсивные, терпеливые, вспыльчивые, непосредственные люди!»

– Раньше я частенько захаживал в русские рестораны, – тихо, почти интимно похвастался он мне на тиргартенской презентации. – И знаю, что у вас бывает уха трёх родов: курячья белая, курячья черная и курячья шафранная...

– Ну, вас обманули, – улыбнулся я, – это всё куриные супы, к ухе не имеют никакого отношения. Просто уж так называют, иностранцев смущая... Уха – рыбный суп.

– А какие у вас бывают рыбные?

<sup>12</sup> Переводится одновременно и как «совесть», и как «сознание», совместимость с знанием. – *англ.*

<sup>13</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 32. С. 532.

<sup>14</sup> Баварская Советская республика образовалась 13 апреля 1919, Бременская – 10 января 1919 года, Эльзасская советская республика – 10 ноября 1918 года, и т. п.

<sup>15</sup> Из статьи Геббельса «О так называемой русской душе», написанной в 1943 году по поводу героического сопротивления Севастополя: «Русские сражаются с тупой, почти животной решимостью, и порой демонстрируют потрясающее презрение к смерти. Рассказы участников битвы за Севастополь об упорном сопротивлении советских войск нуждаются в пояснении – в противном случае они могут сбить с толку немалую часть общественности... На протяжении всей своей истории русские неизменно проявляли необычайное упорство и стойкость... Они бесчувственны, словно животные. Русские обладают примитивным упорством, которое не следует путать с храбростью. Храбрость – это мужество, вдохновленное духовностью. Упорство же, с которым большевики защищались... в Севастополе, сродни некоему животному инстинкту, и было бы глубокой ошибкой считать его результатом убеждений или воспитания».

<sup>16</sup> Вот что писал Геббельс о «Бесах» Достоевского: «Уже три года, как не перечитывал. И снова не могу оторваться». А вот об «Униженных и оскорбленных»: «Читал всю вчерашнюю ночь и сегодня до самого вечера». О «Братьях Карамазовых»: «В который уж раз? И читаю всё подряд». На вечеринках с друзьями он спорит об «Идиоте» и зачитывает вслух отрывки из романа: «Достоевский повергает в отчаяние. Когда я его читаю, я пребываю в состоянии неистового безумия. И всё же он придаёт такую надежду и такую веру, делает таким сильным, таким добрым и таким чистым!» И снова об очищении через Достоевского: «Это были часы праздника (речь о чтении „Униженных и оскорбленных“)!» И вот я позабыл о всякой печали. Теперь я снова стал чист!» Геббельс даже посвятил Достоевскому оду, в которой есть и такие строки: «Провозвестник последних пределов, Пророк и Бог!.. Ты дал народу веру невиданной силы, и форму, и Бога, и мир».

– Пластовая, щипаная, череватая, назимая, опеклая, мешечная и толченик<sup>17</sup>.

– Это по видам рыб?

– Нет, это по способу изготовки! Если по видам рыб перебирать – до вечера не закончим!

И он весьма дружелюбно восхищался русским кулинарным многообразием, как и русской литературой...

Скажите, куда потом всё это делось? И не просто пропало – а заменилось прямо противоположным? Может быть, отгадка в буквенной разнице между «соведью» в немецком и «совестью» в русском языках? Разнице, которую всегда упускают технические переводчики...

Может быть. Но на Тиргартенской презентации я думал совсем не об этом, летая и махая куда практичнее и проще: здесь, в очень подходящей, «тёплой и дружественной» обстановке, состоялась моя первая приценочная встреча с японцами, которые думали, что преследуют меня, и не догадывались (я надеялся), что это я преследую их с упорством Генриха-Птицелова...

Как водится, беседы с улыбкой ни о чём, зондаж, прошупывание, которое узкоглазые хитрецы вели со всеми «старыми знакомыми» фюрера. Приглашение в японское посольство, на неформальный, но званный (для старой аристократии) обед было мною с большим удовольствием принято...

\* \* \*

При описи доставшихся нам с Редзетом по дарственной от нацистов, дословно, «в грозе» – im groben [ «оптом»], активов антикварного салона «Zuiss Antiquitäten» я в числе огромного множества уютных безделушек обнаружил отчётливо-русскую, каслинского литья, продолговатую утятницу. Одну из тех, которые с 1747 года наловчился отливать на Южном Урале купец из Тулы Яков Коробков и которые неизменными партиями поступали потом к нам в Петербург.

– Надо же... – сказал я Редзету, – она почти как та, что...

А потом меня затопили каленым маслом гнев и ярость. Утятница не была «почти как та». Она была именно та! Берлинский антиквар еврей Зюйс торговал имуществом моего тестя камергера Званьева из Отцово-Зузлово, той самой, у которой левая ручка, отлитая в форме медвежьей лапы, была отколота специфическим образом: однажды Званьевы или их прислуга уронили тяжёлую посудину, и три пальца медвежьей лапы отпали... Век назад, жизнь назад...

– Знаешь ли ты, жид, – мрачно начал я, надвигаясь и глядя в упор на побледневшего блеее моей финки-Аннэ Зюйса, – откуда эта утятница?! Трупожор, падальщик! Знаешь ли ты, чем собрался торговать?!

Слезливо заголосили его дети – картавящим семитским причетом. Бледный Моше Зюйс со срезанными ради конспирации пейсами предсказуемо забормотал о том, что к нему приходили разные люди, продавали и закладывали разные вещи, в том числе и кто-то когда-то принёс эту утятницу, давно, потому что она не пользовалась спросом...

– Ты торговал кровью и плотью моей семьи! – рычал я, хватая Зюйса за грудки, а Редзет, тоже испугавшийся (не столько за Зюйсов, сколько за себя), пытался нас разнять, влезал между нами и укрывал вспышку гневного пламени суконными словами пустой вежливости...

---

<sup>17</sup> Уха пластовая – значит, с большими кусками филе, щипаная – с мелко накрошенной рыбой, череватая – с брюшками, назимая – из застывшего рыбного бульона, типа студня, опеклая – из рыб в кляре, мешочная – из рыбной мелочи, доставаемой из мешка, толченик – уха с фрикадельками из рыбного фарша.

\* \* \*

– ...Это самая северная роза! – сказал мне жизнь назад тесть мой, камергер Аркадий Илларионович Званьев. – Рябинолистный рябинник. Кустарник из семейства розовых. Ничто из семейства розовых, кроме него, не смеет зарастать так далеко на Север...

Рябинник в Отцово-Зузлово цвел белой, нисколько не похожей на привычные бутоньерки роз, хмельной и буйной пеной. Пышная его кипень довольно быстро бурела, и оттого белые хлопья его цвета перемежовывались ассиметрично с потемневшими, опадающими гроздьями нежности.

В бесконечности насекомоядной суеты сновало в «северных розах» рябинника пугающее множество толстых шмелей, осадивших цветущую младость его деловитой стаей пыльцесбора. Никогда ни прежде, ни после не видал я в жизни такого обилия шмелей, как на рябиннике в традиционно для русского барства запущенном саду, у Званьевых.

– Шмели не знают ни усталости, ни сомнений – снова сказал, но уже не в ухо, а в памяти моей, давно и страшно убитый тесть. Он всегда был склонен к философии. Пока был... – Шмели рождены для того, что делают, и делают то, для чего родились. Главная проблема человека, может быть, что он забыл, для чего родился...

Старик Званьев образца 13 года появлялся в моих покоях, как-то виновато снимая со взмокшего лба кокардную помещицью фуражку с широким солнцезащитным козырьком, словно бы стыдился, что меня побеспокоил заутренне. На нём мешковато сидел обвешанный утиными манками, «более чем свободный» в талии (коей и не было у старика-пузырька вовсе) двубортный кафтан ярко-жёлтого цвета, чтобы издалека быть видным другим охотникам «на проходе».

– А то бывали случаи, – объяснял он свою нарядность, – что приходилось потом дробинки из наших помещиков вытаскивать, а один так глаза лишился, впрочем, изрядно возместив сие почётным прозвищем «Кутузов»...

– А вы бы предпочли, наверное, зваться «Нельсон»? – поддел я его англomанию.

– Я предпочёл бы не терять зеницу! – ответил он, и с такой блинно-радушной расплывчатостью улыбки, что я оставил всякие планы трунить над ним дале...

Ранней зорькой будил он меня на утиный промысел, в заливные, заболоченные и бескрайние луга, с английским сеттером Виндзоркой, и со своей записной англomанией, выражавшейся и в манерах, и в особом костюме пузатенького, лысоватого охотника. И в пристрастиях, в суждениях о добре и зле, по-английски холодных, что, впрочем, нисколько не мешало тестю в быту оставаться милейшим хлебосолом, тёплым в радушии, как каравай свежей выпечки...

На кафтане тестя блестели специальные русские охотничьи пуговицы, каких сейчас нигде не делают: каждая – чюдная чеканная миниатюра: сценки охоты и отдыха на привале, и дрессировки собак, профили самых популярных ловит: зверей и птиц.

Носил Софин папá за плечом старенькую курковочку, по-моему, «тулку», у которой всё цевьё и приклад украшены были резьбой на охотничьи темы, а через плечо ягдташ.

Удивительный запах шёл от нас, сильно натёртых «для болотной удобы» гвоздичным и лавандовым маслами. Он отпугивал полчища гнуса – ну, и при случае незнакомых людей, обоняющих от с виду приличных путников такую вонищу...

Тесть мой и его гости, бомонд заштатной волости, надевали на «охотские радения» высокие кожаные сапоги, ботфорты до бедра, нелепые, неудобные, зато оставлявшие пах сухим. Я же в городском опереточном обличе «птицелова» после каждого болотца выглядел так, словно помочился в шаровары.

Носков охота тут не знала, обходились холщовыми портянками. Заряжались мы по старинке, не признавая «порчи нововведений» индустриального века. Для патронташа имел мой

тесть мерную ложечку, складные аптекарские весы, в обычное время лежавшие в плоском сиреневом бархатном бюваре. А ещё – нарезки старых-старых валенок – для пыжей. Несвежие газеты для обёртки, бумажные гильзы для дробы, закруточку...

Порох пользовали дымный, и капсулы прошлого века. Не родственник был мой тесть – а целый музей старинной охоты, и экскурсовод в одном с музеем лице!

Удивительные были в Отцово-Зузлово лодчонки, специальные для плоскодонных болотцев... шитые! Мы на них переплывали на полуподтопленные острова, находили там место посуше, ориентируясь по травам пригорка.

Аркадий Илларионович зачем-то доставал часы, будто посреди этих полян-прогалов имело значение время, чернёные, в серебряном корпусе, «брегет», крепившийся у него, по старосветскому обычаю, на двух цепочках, и со множеством фигурных подвесок (видимо, этой мишурой люди его круга доказывали друг другу, что ни золота, ни серебра не жалеют – и в достатке имеют).

Посмотрев время и в чём-то мне неведомом убедившись, тесть располагался по-свойски, турецким присестом. Неторопливо снимал с пояса и засмаливал железную дымокурку с тлеющим древесным трупом. Если в здешних низинах сидеть, то уже ни гвоздичное, ни лавандовое масло не спасут от комарья, а только едкий, смолокуранный на привкус, дым...

\* \* \*

В иные же дни моя Софи, Софочка, уже фон Клотце, а не Званьева, на высоком крыльце, по помещицкому обыкновению желала мне ни пуха ни пера, обнимала, целовала и не забывала перекрестить на дорожку.

– Ты что же, душа моя, порядков не знаешь? – притворно-приторно ворчал на неё отец. – Соблаговоли нам с супругом твоим «царничной» хряпнуть, да вели к нашему приходу баньку заложить, как пить чую, озябнем нонче...

Я был остзейским бароном, об ту пору вполне комплектным. А посему, предупреждённый любимой женщиной о неизбежности охотных радений, взял с собой императорский охотничий костюм: клетчатый твидовый норфолк и такие же бриджи с тяжёлыми ботинками-брогами. Заказной норфолк был мне пошит в куртейной форме, застёгивался доверху, кокетливо отлагал замшевый воротник...

Пока я возился со штрипками внизу зауженных штанин – тесть величественно стоял с подарком от всей души: он принёс мне холщовый балахон для маскировки, чтобы сполна затаяться, как место уловное определим.

И мы с ним выходили по утренней стерне, когда вся новгородчина, старшая в русском роду, исторически-усталая, – ещё нежится под газовым покрывалом росистой дымки, старчески побрякивает во сне голосом болотной птицы. Тревожно-жёлтыми огоньками ядовитых лютиков мечены в тумане заболоченные бочаги.

Про эти лютики я уже знал от тестя, что во всех «льняных» губерниях дети балуются особой игрой, поднося лютик к подбородку.

– В народе, – многозначительно вещал краевед Званьев, – предполагается, что желтый отблеск указывает на любовь к сливочному маслу...

– Скажите, кто в народе не любит сливочного масла? – засмеялся я этому нелепому суеверию льняного края. – Ежли оно в наличии!

Так и брели мы, ранние гости сонного раздолья, и раньше нас на охоту выходил разве что приживающийся у Званьевых в их деревенском хозяйстве кот. Впрочем, может быть, он не выходил, а возвращался с «ночного», не знаю...

Крупный и полазливый крысолов именовался «Башкиром» и хорошо отзывался на шипящие звуки своей клички, хотя официально звался, будучи породистым, с родословной, – Диз-

раэли. Званьевы уверяли меня, что никакого противоречия нет, что Бенджамин Дизраэли даже на приукрашенных портретах своих весьма похож на башкира, а уж на прижизненных фото – вылитый и чистый башкир. Разве что в цилиндре и манишке, башкирами не особо пользующимися, ну да то ведь съёмные детали, не так ли?!

– Дизраэли само зло! – разглагольствовал мой тесть в кругу местных помещиков и служилой интеллигенции, а многие не понимали, что он это про своего кота, а не про английского премьера. – Но он суще зло, а персонально он очень добр! Однако каков бы характер ему ни был даден – натура проявляется в нём ужасом грызунов...

Мы шли со Званьевым, иногда и с другими помещиками, ставшими теперь лишь полустёртыми призраками моей памяти, по мокрым от росы, по пояс в рост и до самого окоёма вширь, «лужинам» (полулугам-полулужам). И тесть меня поучал, радуясь, что развешены поблизости благодарные уши его монтеневским «опытам»:

– Человек рождён к добру, Сашенька, и власти должно помогать ему стать добрее, вопреки удобству междоусобий, в которых зло востребовано как топливо, как инструмент... В этом и заключается миссия великодержавности!

Я возражал на это что-то мальчишеское, дерзкое, материалистическое, чего сейчас и вспоминать стыдно. Мол (вкратце), – в борьбе «Я» обретается общественное «Мы». А люди, целиком добродушные, стали бы и целиком идиотами.

В ответ тесть, сердясь не на меня, олуха, а на Дарвина, «забившего мне голову» всяким вздором, излагал свою теорию о рождении человека вместе с храмом, в храме и вопреки животному, плотскому естеству:

– Чтобы разговаривать с духами, Саша, нужно самому, хотя бы отчасти, стать духом. Ведь духам разговаривать с тем, в ком нет ничего духовного, – не интереснее, чем беседовать с кирпичом. Материальные делимости или умножения – духов несколько не волнуют: покойного Достоевского нельзя ни премиривать, ни оштрафовать!

Шли речи такие своим чередом, а мы – своим... Но всякой дороге дано если не окончиться, то оборваться...

Какой же русский не любит открытого огня, как и быстрой езды? В конце пути – непременно костерок! Неряшливый дровник, в котором колотые на четвертины дрова не в поленнице, а навалены как попало, с русским размахом и неряшливостью кормил нас огнём, выражая одобрение щёлканьем сучков, напоминавших мне фирменное гвардейское звонкое щёлканье каблуками...

Ах, как любили мы эту землю, и как славно было бы, если бы могли стать плотью от плоти её! Но – увы, самый глубинный корень трагедии моего круга – сухо и печально описан видным деятелем белоэмиграции Головиным:

«Привилегированное положение, в которое фактически попадало в России лицо, получившее образование, усиливало отрыв интеллигенции от народных масс, и вместе с этим вызывало в глубинах этой толщи недоброжелательное отношение к интеллигенту. В упрощённой форме, народная масса видела во всяком интеллигентном человеке своего рода „барина“. Во всяком случае, она считала его „чужим“ человеком. Подобное отношение сильнее всего сказывалось в крестьянстве...»<sup>18</sup>.

Головин пишет это вроде бы о каких-то «них». На самом деле о себе. И обо мне. Слово в слово. Именно так всё и было!

---

<sup>18</sup> Головин Н.Н. Российская контрреволюция. Т. 1.

\* \* \*

Вот об этом и свистели мне, беспощадно и неумолчно, каждое утро каждого лета певчие берлинские амадины, которых тогда ещё не совсем оглушил городской шум и гомон, эти несносные берлинские амадины, почти соловьи...

Кто ж знал, что мне выпадет спасать от холодных, как головоногие моллюски, убийц семью еврея, торговавшего вымороченным имуществом моей собственной семьи, спасать – мечтая с ним разделаться, и окорачивая себя – «дети малы; ни в чём не виноваты».

Мой тесть Званьев не был мал – в годах приличных я его уже застал, однако же он тоже ни в чём не был виноват. Он пошёл у «товарищей» по статье коллективной ответственности класса. Бормоча в руках пьяных, гармонистых палачей что-то вроде «позвольте» да «извольте» и «как же так, господа?!». А все господа уже были в Париже, и обращался Аркадий Илларионович, получается, ни к кому...

А потом вещички его попали к падальщику в Берлин, как попадал индейский скальп в руки держателя фактории на диком Западе. И круг замкнулся на его зяте, держащем за скальп гробокопателя Зюйса. В строгом соответствии с расовым законодательством гитлеровской Германии. Кстати – вы удивитесь – но саму себя эта Германия искренне считала «строгим правовым обществом»! Если считать право бумажкой, а не Скрижалями Завета – то всякий, записав свой произвол на бумажке, может изображать из себя законника...

\* \* \*

Преследуя крылатую дичь, мы доходили до небольшого, деревенских масштабов, как говорил мой тесть, «любительского» песчаного карьера, где мужики копали песок. Доселе не ведаю, для чего мужикам был этот песок – наверное, в затылок им уже дохнул машинным перегаром индустриальный суховей, и чего-то они посредством песка рассчитывали удобить. Но и то прошло, и теперь «любительский» карьер был заброшен, остался песчаной оспиной посреди земного лика, предоставив неброской природе новгородских широт постепенно восцелить покалеченный вглубь участок.

Пологие края бывшего карьера сопротивлялись травам своим пустынным бесплодием, и потому сочный травостой толпился в сторонке, но самые смелые пастушьи сумки закидывали себя в желтые и серые тона галечной пустынной протяжённости.

И пускали тут корни и тянулись к небу, чтобы своим приходом и краткой, за год истлевающей жизнью подготовить почву более робким собратьям своим: в самом прямом смысле этих слов «подготовка почвы», которые мы чаще ведь произносим аллегорически!

От песка струился жар. Тени редких трав, осмелившихся бросить вызов его мертвенной минеральности, – ложились тонко и витиевато, словно паутина или морщины призрака жизни.

Люди приходили сюда через изумрудно-матовые заросли дикой конопли, через ароматные и пурпурные диадемы островков иван-чая – и уходили. И выныривали взамен уже другие люди, и казалось – так будет всегда, из поколения в поколение. А постоянно тут жила только ветреная тишина, переполненная шорохами и сухими, как песок, механически-затейливыми хорами насекомых рулад.

Храбрая, мясистая конопля, забредя в компании поджарых, словно рыбы скелеты, пастушьих сумок на мёртвый участок, усыхала к середине лета, потому что была слишком массивна для открытых и бедных почв. Ни жива ни мертва, в тупом вегетативном сопротивлении естественному гербарии, она становилась податливой на щекотку ветров, обиженно и горько качала своими иссохшими венчиками...

\* \* \*

А теперь я нахожу вещь оттуда в берлинском антикварном магазине и чувствую себя так, как будто мародёр Зюйс на моих глазах откопал гроб моего тестя, чтобы снять галстук и запонки...

А когда-то она – хоть раньше я об этом не думал, – формами своими весьма похожая на гробик, замысловатая утятница эта каслинского литья, которую ни с какой иной не спутать, сбоку колотая, вся в орнаментах, весело клокотала на огне. На двух, помню, поперечно ей сложенных, и массивных, таких с виду неизменных обрезках рельсов. Открытый огонь пикника лизал металл снизу, выплясывая на обугленной земле под собой замысловатый танец, почти невидимый на солнцепёке.

Тесть мой, покойничек, г-н Званьев, «перочинно», как он говаривал, любил это дело и никому не передоверял. Возился сам, набивал утку яблоками, дарил праздник окружающим, но главным образом себе.

А если вызовешься ему помочь, чего я всегда с удовольствием предлагал, то кроме охотничьей снеди он угостит ещё и отменной порцией утончённой, возвышенной и, увы, совсем оторвавшейся от земли философии собственного разлива:

– Немудрено понять, почему из двух дураков один служит добру, а другой злу: дураку ведь что в уши насвистели, тому он и верит. Куда труднее понять, как из двух умных получается тот же расклад! Умному ведь нельзя насвистеть в ухо, наоборот, это он туда всем свистит, почему же тогда одинаково образованные оказываются нравом такими разными?!

Под эти разговоры, чей космизм приближался к бесконечности, а практическая польза – к нолю, мы нагуливали аппетит, а в усадьбе уже стучали для нас в кастильских ритмах кухонные ножи за широко растворёнными окнами барских «служб». Они одноэтажно примыкали слева к дому с мезонином и чайно-разговорчивой верандой, стариковски опирающейся на крашенные, шелушащиеся старой краской торцевые столбы-опоры.

Сон о былом, сон несостоявшихся мечтаний! Всего лишь сон, как наша жизнь, от которой мы, живя во сне и снами, хотим так много...

Сон, которому дано только одно: обмануть; который за этим только и приходит в удушье наших ночей...

Блины на костре – это, может быть, ответ на вопрос, как я, человек с немецкой кровью крестоносцев, стал русским и не мыслю себя никаким иным, кроме русского человека.

Не то чтобы немцы совсем не знакомы с блинами, и не то что сумрачный германский гений не сумеет изготовить их на открытом воздухе, на обрамлённой дикими лопухами (в рост человеческий!) лужайке. Нет, сумрачный германский гений бессилён в ином: «понять» – зачем так делать?

Зачем готовить блины на костре? – а не на плите, и в крышке солдатского котелка, а не на предписанной Kochanleitung [«кулинарной инструкцией»], конституционно-нерушимой для немцев, сковородке?

Крепкий жар давала подмигивающая багровой подкладкой куча углей званьевской затеи, и без плотных, суровых «ежовых» рукавиц никак не перевернуть было блин на малой поверхности с высокими бортами!

Весело шкворчало зеленовато-желейно-прозрачное конопляное масло, подливаемое от щедрот точёного из вяза, вязкого на ощупь жбана, а севший на ветер едкий дым кусал глаза до боли, отталкивая, но жажда летних угольных блинов была сильнее. А не накушавшись дыма, костровых блинов не вкусить!

И постепенно, с хохотом дружной семьи, понимаешь, что и дым не враг, а часть угощения, особая приправа к этому, слишком-русскому столу посреди слишком-русской природы,

как и сочающаяся жиром деревянная лопатка, не то чтобы необходимая, но «вкусная», будто аперитив.

То, что на природе сделано – как пейзаж на пленэре, – и кушать тоже надо на природе, всем вместе, макая в масло и капая поверху рюмочкой-слезинкой с чистой царской, но в хорошем смысле слова<sup>19</sup>, водкой. Вот так я и стал русским – имеется в виду, совсем, без малейшей инородной примеси...

– Звери грызутся, – потчевал нас мой тесть, под выпивку со знатными, как он сам, закусками, – и принято считать, что тот, который загрыз другого, – чего-то выиграл...

– Хотя лично мне не совсем понятно, чего именно? – изламывал бровь гость: ироничный земской врач Иван Борисович Хомутов. Яркий был человек: с пышной шевелюрой, красными прожилками на лице от «злоупотреблений» и с вольнодумной мушкетёрской бородкой. – Отсрочку от могилы? – иронично вопрошал он. – Право уйти туда же, куда и его жертва, но только завтра, а не сегодня, – разве это так принципиально?!

– Здесь я имею в виду ловушку для разумного существа, – охотно пояснял Хомутову Званьев, и казалось, что они разложили пиэссу на двоих, так складно подхватывали они «экс-либрисы» друг друга. – Если жизнь несёт в себе только это, то она носитель ничего, и сама ничто. Материализму не нужны враги – он сам себя уничтожит...

– С чего вы взяли?

– Он – идея реальности, отвергающей реальность идей!

Таков уж это типаж, провинциальный русский «филосóf без огурцов», так загнёт иной из них – после и не выговоришь...

– А вы не думали, – задиристо лез вольнодумец Хомутов, – что все ваши «святые» – только потому, может быть, и святы, что были гонимы и отставлены на обочину? А ну как им дали бы власть и первенство – какими тогда чудовищами они могли остаться в вашей памяти?

Говорить с этим угловатым человеком было очень приятно, хотя обходительность его не отличала. Он принадлежал к редкой породе консервативной интеллигенции, чурался сверхмодных в среде разночинцев примитивных «революционизмов», рассуждал в духе сборника «Вехи» о неразумности потрясений и о великой налаживающей силе копейки столыпинских реформ становления фермерства.

– ...которое, пусть и жестокой плетью, но из нашего полубезумного, иррационального, как Бёме, мужика-мистика, не выходящего из галлюцинаций, делает рационального хозяйственника...

Я, как и положено феодалу, на такое злился, шипел, словно крутившийся тут же под ногами с трубным хвостом кот Дизраэли:

– Это что же, Иван Борисович, у вас капитализм рационален, Разуваевы да Колупаевы причастят нас через откупа Культу Разума?

– Капитализм, эмансипируя личность, куда разумнее, чем ваше сплочённое и централизованное коллективное безумие поклонения курилке на троне!

– Если в человеке живут две личности, – нервно и возбуждённо, может быть, излишне эмоционально начал я, – то его называют шизофреником! Мозг же капитализма сложен не двумя, а огромным множеством разных и враждебных друг другу сознаний, чьи интересы очевидно и перекрестно противоположны! Чего, кроме бреда, может сформулировать такой мозг в целом?!

– В целом?

– Да, публично, для всех и каждого? Не внутри отдельной своей хитрой, раковой клетки, а в целом, как единое мыслящее существо? Как можно такую систему, с неискорени-

---

<sup>19</sup> Имеется в виду водка, изготовленная при царском режиме, а не та «Царская Водка», каковой химик зовут адскую смесь концентрированных азотной и соляной кислот.

мым расщеплением личности, считать разумной? Продавцу разумнее сбыть дороже, покупателю приобрести дешевле, а общая разумность-то в чём?

– В том, что они вдвоём выведут справедливую цену... – неуверенно, но классически возразил Иван Борисович.

– Помилуйте, милостивый государь, даже академики веками не могут вывести справедливой цены, а тут два случайных человека так-таки с ходу её и определяют? Ясно же, что на практике кто кого обманет, тот и выиграет! И этот культ лжи вы называете рациональным обустройством общества?!

Так говорят в моей голове голоса минувшего, настолько иного – что оно кажется воспалённо-выдуманым в мечте скрюченного адом человечка о воображаемой, такой невозможной, такой желанной человеческой жизни.

Знаете, когда дому много лет – дранка его, сокрытая под обоями, начинает особым образом благоухать благородной патинной старостью, как бы пропитываясь сложным возрастом бытовавших тут поколений, и в дождливые дни это придаёт своеобразный уют тому, что в ином месте назвали бы «затхлостью». А в Отцово-Зузлово застучал ливень по кровле – вот тебе уже и собеседник...

Вот они – анфилады растворённых приветливо, как бы услужливо выбегающих вам навстречу, состязаясь в гостеприимстве друг с другом, белых остеклённых двойных дверей между покаями...

В полумраке комнат близоруко шуряются книжные шкафы-очкарики. Сиреновой ночью отекает на нас, твердея тенями, душная янтарность солнечного лета в траченном жизнью, но хорошей, знатной жизнью, благородно состарившемся помещицьем доме в Отцово-Зузлово, – было ли это?!

Нет, этого не может быть. Это слишком хорошо, чтобы быть.

Но ведь было...

Самого себя старик Званьев понимал так, что это после вполне объяснило его беспомощную гибель от рук бандитов, вместе с крахом всего его мироздания. Того, в котором он уютно, и думая, что осмысленно, словно мышонок в вязаной шерстяной рукавичке, жил:

– Крайности – смыкаются. Это жестокий закон, но это закон. В величайшей силе Разума диалектически заложено и его величайшее бессилие. Разум – великая сила, если его коллективно поддерживать. Но Разум – в буквальном смысле ничто, если его коллективно уничтожать...

\* \* \*

В сложной и запутанной жизни моей довелось мне побывать в краях краснозёмов, в которых всё видится как бы через розовое стекло, отражённо-подсвеченное почвой, а дождь кажется с того кровавым. Но не здесь, не в Берлине!

Здесь черные камни карабкающейся за витриной нашего антикварного салона вверх пологими, но резко-угловатыми, как всё немецкое, мостовой превращали дождевые потоки в подобие чернил. И бравурный туш ливневых струй, колкие тушё их водяных шпаг – сочетались с угольно-тёмной тушью бесчисленных, змеящихся под ноги проходим, непрозрачных, будто наша жизнь, подтёков.

И под аплодисменты этого дождя за панорамной гранёной алмазом витриной я, как заправский нацист (числившийся ветераном национал-социализма), возвышался над колено-преклонённым, запуганным до полусмерти еврейским семейством. И готовился обрушить на их головы вместе с моим гневом не менее массивную, чем он, пропитанную моей памятью утятницу.

– Ещё раз тебя спрашиваю! – орал я перекошенным ртом. – Кто и когда принёс тебе эту вещь?! Как она к тебе попала, Shadenfreude?!

Shadenfreude... У гитлеровцев так частенько звали евреев, и теперь, годы спустя, я думаю, что только в Европе могло сложиться такое причудливое слово, смысл которого, будучи выраженным по-русски, составляет целую фразу: «получатель выгоды и удовольствия за счет несчастья других».

Как нет в европейских языках точного аналога русскому слову «совесть», так и в русском не отыскать точно соответствующего Shadenfreude'ну слова...

Все Зюйсы склонили головы, как на плахе, и только отец семейства снизу тянулся бородастым лицом ко мне, заикаясь, бормотал униженно и умоляюще:

– Ich weiß es nicht... Es wurde übergeben... Menschen... Sie haben es mir verkauft... Mit einem Rabatt...<sup>20</sup>

– Я тебе покажу, Раббат-Шаббат! Говори по-русски, свинья!

– Ich weiß nicht... Ich kann nicht... auf Russisch... Entschuldigung... Entschuldigung...<sup>21</sup>

– Саша, он не умеет по-русски, – сказал мне фон Редзет по-русски. И с силой за рукав оттащил от намечающегося в духе расовой теории рукоприкладства. – Чего ты от него хочешь?! Он торговал подержанными вещами. Как и мы с тобой! До чего довёл человека, он уж заикаться начал...

– В гестапо все заикаются! – волком рычал я. Правда, слово за словом, мой волк становился всё сентиментальнее и слезливее. – Даже ораторы! Они в первую очередь – от страха побелев...

– Типун тебе на язык, Саша! – укорил Редзет.

– И ты у меня заикаться там будешь, красноречивый мародёр! – жалко грозился я, торопя от собственной бессмысленности. – Ты там сразу вспомнишь, кто и когда тебе сбывал вещи русского помещика Званьева!

\* \* \*

Размышляя над пережитым, обо всём, что я узнал, а главное, своими глазами увидел в самой гуще нацистского зловонного варева, я пришел к выводу о «трёх смертях человечности», вложенных одна в другую, как куклы нашей «матрёшки». И записал их скучно, казённо, прямо по пунктам, как шпаргалку-напоминание:

1) смерть человечности в голове: философия смертопоклонничества, чёрный пессимизм материализма, бессмысленность жизни, данной случайно и бесцельно;

2) смерть человечности в сердце – когда там торжествует вырастающий из зоологического инстинкта доминирования садизм, чувственное опьянение кровью и насилием;

3) смерть человечности в кармане, когда, чисто арифметически, отобрать у других всё – это максимум, что можно с них взять.

Все эти три смерти человечности соединяются в нацизме, порождают его чёрную философию, чёрную эстетику и чёрную экономику.

Я это понял слишком поздно и с милейшим тестем моим поделиться этим уже не имел чести, а потому удовольствовался всегда покладистым, если речь не о деньгах, коллегой фон Редзетом.

Понимая, что мне нужно отойти, перевести дух, чуткий и заботливый Редзет отпаивал меня в ближайшей пивной, а я – уже не грозно, а как-то рассеянно бредил на всплывшую, вместе с утятницей, тему:

<sup>20</sup> Не знаю... Отдали... Люди... Продали мне... Со скидкой... – нем.

<sup>21</sup> Я не знаю... Я не могу... по-русски... извините... извините... – нем.

– Революцию русскую делал обиженный человек: в том и сила его, и слабость, и первый мотив. Английскую делали стряпчие, французскую – болтуны, немецкую – нотариусы, а русскую – обиженный человек как главная фигура всего действия, угрюмый в своей обиде. Не столько за хорошим вошёл он, пинком отворив двустворчатые двери в Завтра, сколько за мезтью...

– На обиженных-то, говорят, воду возят... – утешал меня вкрадчиво какой-то совсем кукольный в клетчатом костюме ядовитой расцветки Теодорих.

– Да, Тедди... Таких дворян, как покойный камергер Званьев, более нет... Одни убиты, другие сами умерли, а те, кто выжил, – изменились, переродились, грезят об одном: убивать, убивать, убивать... Никакой философии: попытаешься обобщать – сразу палкой по голове...

– Не утрируй, Ацхель...

– Да я скорее приукрашиваю... Насмотрелся я их таких, выживших, и встречно обиженных, особливо тут, в Германии!

– Ну и кого, к примеру? У нас знакомые, Ацхи, всё больше-то общие!

– Ты их знаешь.

Я мог бы вспомнить мою Таню, княжну Урусову, но не хотел попусту трепать имя женщины, перед которой доселе чувствовал себя виноватым.

Впрочем, и нужды не было: среди белоэмигрантов полно таких, как Таня. К примеру, Пётр Бернгардович Струве, в юности марксист, кажется, и уж точно революционер, под старость ходил и всем навязчиво, занудно признавался в своей ненависти к большевикам.

– У меня единственная причина для критики Николая II, – говорил Струве, – что тот был излишне мягок с революционерами! Их нужно было безжалостно уничтожать.

– Уж и не вас ли, Петр Бернгардович?! – спросил его игриво известный эмигрантский острослов Василий Шульгин.

Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул:

– Да!

И, встав со своего места, зашагал по зале, трясая седой бородой.

– Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимает голову свою – бац! – прикладом по черепу!

Вот ведь могучий старик! Жизнь прожил, ума нажил: стоит кому-то открыть рот – сразу ему его возражения туда, обратно в глотку заколачивать! Чтоб молчали и боялись! И разговаривать с собственным эхом, и думать, что это диалог, и столкнуться однажды с грубой рукой, толкающей тебя на штыки, и не понимать, чья она, и зачем делает то, что сделала...

## 6

Судьба моего собеседника, Того Сигэнори, была поистине уникальна и изумительна. Я жил в нацистской стране, в которой, казалось бы, нацизмом никого не удивишь. И, тем не менее, германский нацизм был натужным, вымороченным, выставленным напоказ, чтобы скрыть внутреннюю неуверенность в себе. Германский нацизм только-только обрушил столпы многовековой христианской цивилизации, и её обломки ещё торчали вокруг нас, хаотично, но массивно, то там, то тут. Что же касается японского нацизма, то он вообще никогда не прерывался в веках, до самого 1945 года!

Он был менее истеричен, чем немецкий, укоренён и непротиворечив в своей органике. В какой бы век ни взяли мы Японию – идея о превосходстве японского сверхчеловека над недочеловеками окружающих недомиров никогда не угасала на островах. Как и ницшеанская идея сверхчеловека, которому можно всё: у самураев веками бытовал людоедский обычай кимотори. По синтоистским поверьям, источником смелости в теле человека служит печень (кимо). Считалось, что, съев сырую печень поверженного противника, получаешь новый заряд смелости. Потому и самурайский меч, выковав который, по традиции закаляли, вонзив в печень раба... Что существенно увеличивало стоимость самурайского клинка, но изуверам ведь, как бешеным кобелям, семь вёрст не околица...

И вот в такой стране врождённого нацизма Того Сигэнори был одним из столпов режима, умудряясь при этом происходить... из наиболее презираемых японскими фашистами корейцев!

Чтобы такого добиться в милитаристской Японии – нужно было обладать невероятными способностями и нечеловеческой пронырливостью (которая всё же не спасла потом Того от приговора Токийского трибунала).

Сигэнори великолепно говорил по-немецки, что неудивительно для посла Японии в Рейхе. Я бы сказал, что он знает немецкий лучше самих немцев (и уж тем более меня – бастарда германской нации), потому что как учёный Того специализировался по германской литературе, чуть не наизусть знал Гёте, читал о нём лекции в Токио.

Куда более удивительно, что Того неплохо владел и русским языком, а сие, как вы понимаете, в обязанности имперского посла в Рейхе не входит. Сигэнори неоднократно выступал главой миссий в Россию – как в царскую, так потом и в советскую. Он бывал у нас «в гостях» и в 1916 году, и в 1925-м, и это только те его визиты, про которые я знаю, а на деле, думаю, их было куда больше.

Обедая со мной в роскошной, по-азиатски пышной и по дальневосточному экзотичной столовой зале посольства, Того играл в откровенность, несколько наивно изображал близость, как бы размышлял вслух:

– Совершенно ясно, и в этом нет никакой тайны, и, чтобы понимать это – не требуются никакие секретные источники: Гитлеру нужен от нас «Хокусин-Рон»<sup>22</sup>. Но лично я полагаю, что для моей страны куда более полезен и перспективен «Нансин-Рон»<sup>23</sup>.

– Оба плана ведут к достижению «Великой восточноазиатской сферы сопроцветания», – дипломатично ответил я, закусывая нежнокоралловыми «темпурами», своего рода послами японской кухни «васёку» на дипломатических раутах «Страны Восхода».

– Это так, – согласился мой собеседник. – Но из двух дорог одна всегда короче другой!

– Не всегда, если обе не прямые.

<sup>22</sup> Японский имперский план дальнейшего расширения на север за счет нападения на СССР.

<sup>23</sup> Японский имперский план захвата французских, голландских и британских земель на юго-востоке Азии.

– А я думаю о прямой дороге для своей империи. Как и вы, барон, для своей. Уместна ли меж нами откровенность во имя подлинного духа сотрудничества?! – И спросил, уже не скрывая практической ангажированности: – Барон, что вы думаете о подписании англо-германского морского соглашения?

– Очередная попытка фюрера улучшить отношения с Англией. Не раскрою секрета: он влюблён в Англию. Об этом он писал ещё в «Mein Kampf», вы же читали, наверное?

– Нас очень огорчает, что Рейх полагается на Великобританию как на перспективного партнёра, – цедил официальную позицию, не раскрывая всех карт, Того. – Адмирал Исороку Ямомото, который откровенно критиковал союз с гитлеровской Германией, мы, его соратники, были крайне потрясены и ошеломлены фактом вероломного морского соглашения с нашим главным врагом.

– Ну, нетрудно представить... – пожал я плечами.

Того пошёл ва-банк:

– Вы близки к фюреру, что говорят об этом на внутренней кухне Рейха?

– Ну, лично сам Гитлер смеялся при мне, – набивал я себе цену, – что, мол, эта сделка – наша хитрость, дающая выиграть время для создания германского флота. Нам нужно время, господин посол, чтобы флот Рейха дорос до английского. А стальные корабли не деревянные, они сами не растут!

– Это мне известно! К тому же выводу пришли и у нас в Токио лидеры военного лобби – но это люди конченные... А я вот замшелый гуманитарий, господин барон, и я знаю, что для вашего фюрера мир с Англией – заветная мечта, стратегия, что он годами восхищается британской империей, ставит её себе за образец, мечтает поделить мир именно с ней, а не со Страной Восходящего Солнца! И если бы британцы были по природе своей готовы хоть с кем-нибудь сотрудничать на равных – ваш фюрер не вылезал бы из Лондона! Но, на наше счастье, у англосаксов бывают только рабы – или враги, и третьего им не дано... Вы согласны?

Это был мой звёздный час. Я сказал лишь одно немецкое слово из двух букв:

– Ja [Да].

И, возможно, это коротенькое слово изменило ход мировой истории, доубедив Того в том, в чём он и без меня склонен был убедиться.

Он говорил на чистейшем немецком, и всё равно в японском стиле. Как говорится – «стиль – это человек».

Японского я не знал, зато знал сиамский, и решив, что одно от другого недалеко, попытался говорить на неродном мне немецком в сиамском стиле. Пышно, витиевато, притчеобразно...

– Говорите по-русски, – вдруг снисходительно разрешил мне японский посол-полиглот. – Я пойму, и, кроме того, мне будет приятно... Я так давно не слышал чудной русской речи, ласкового рыка, сладко-фруктовый запах малины из пасти огромного медведя...

– Извольте! – облегчённо кивнул я. Мне предстояла весьма непростая задача: подставить себя так, чтобы умнейший собеседник не понял, что я подставляюсь специально, и подумал, что это он меня поймал. На русском мне это было сделать проще всего. «Ласковый рык», говоришь, Того?

Я с деланой наивностью рассуждал о гуманизме, а потом про деньги. О пользе богатства – и снова о человечности. О том, что в сказках всех народов мира славят тех, кто по доброте души спас жизнь случайного спутника. И о том, что в природе человека очень важное место занимает забота о себе, о своей семье, и каждому хочется иметь приличный доход – если только это соответствует требованиям патриотизма...

Я сбивался, но на русском делал это специально, тогда как по-немецки, боюсь, это вышло бы у меня само собой. Суть моего словесного поноса, минут сорок обдававшего Того ароматом малины из пасти медведя, была в том, что деньги за зло – это очень плохо, а за добро хорошо.

Ведь если ты сделал добро и получил за это большие деньги, то и другому человеку славно, и тебе недурственно! И никаких угрызений совести, когда будешь тратить добром приобретённые деньги, потому что тебе только все благодарны, и никто не пеняет!

То, что собеседник был урождённым корейцем, – помогало мне. Корейцы на такие темы отзывчивее японцев. Прирождённое имя Того было Пак Мудок, и хоть это смешно для русского уха – Пак не соответствовал тому, о чём вы подумали. Это был один из умнейших, хотя и самых жестоких, людей моего времени.

Наконец я вывалил суть дела: я прошу содействия японских друзей для вывоза весьма и весьма состоятельных людей из Рейха куда-нибудь в Швецию или Швейцарию. Это обеспечит меня на всю жизнь – говорил я, – что же касается посольства Японии, то Рейх сейчас ухаживает за Токио в самом романтическом смысле, и в такой мелочи японцам даже и не подумает мешать...

Слово «евреи» я не употреблял. Я дал его додумать самому Паку Мудоку, уповая на его мозги. И не ошибся. Мудок под псевдонимом Того не смог скрыть радостного возбуждения, потому что имел на мою податливость некие виды, но о такой удаче даже в самых смелых снах не рассчитывал!

Не только он, но и другие японцы потом понимали меня – как им казалось – очень хорошо. Насквозь. Богатые евреи, спасая свою жизнь, платят алчному проходимцу большие деньги за выезд из Рейха. А может, отдают золото, бриллианты, какие-то ещё сокровища, что угодно возьми, ведь жизнь дороже! Проходимец для вывоза евреев, с целью, пошло говоря, «личного обогащения», использует доступные ему каналы.

Он просит японских представителей помочь ему вывезти нужных людей – зная, что у японцев, которых Гитлер обхаживает, как Ромео Джульетту, есть для этого все возможности. И японцы помогут. Помогут, потирая жёлтые ладони, щуря и без того узкие глаза, с восторгом предвкушения. Ведь я сам иду к ним в руки, разве нет?! Получив против меня такие компрометирующие материалы, как пособничество жидам, – японцы возьмут меня в оборот тёпленького и беззащитного! Имея возможность уничтожить меня в любой момент, японцы убеждены, что уж теперь-то я от них никуда не денусь...

Так японцы ловят меня на живца, не подозревая – как я надеюсь, что это я их ловлю на живца. Они хотят получить себе осведомителя из ближнего круга Гитлера, а мне как раз и нужно, из кожи вон, – попасть к ним в доверенные осведомители! И знаете, почему они будут верить моим сведениям? Потому что убеждены, и не без оснований, – я весь целиком у них в руках! Я – думаю узкоглазые – от жадности, которую они подозревают в каждом европейце-индивидуалисте, в жажде наживы залез в их силки и запутался там...

Ну, вот и пусть они так думают! Мне из Кремля велено сделать всё возможное, чтобы они так думали...

\* \* \*

Фургончик японской дипломатической почты, грузовик с просторным кузовом, неприкосновенный по международному праву, и тем более неприкосновенный, учитывая планы Гитлера на Японию, – легко и без проблем вывез из Германии всё семейство Зюссов. Утром папа, мама и смуглые детки загрузились с заднего крыльца моего и Редзета заведения, а уже вечером были в Швейцарии, ибо Европа протяжённостью не хвастает.

Японцы после этого умоляли меня с настойчивостью требовательности спасти другие еврейские семьи, что я и делал, совмещая приятное с полезным. Каждый вывезенный еврей – в глазах японцев «топил» меня всё глубже и глубже, так, чтобы я никуда уже от них не делся и даже думать не смел уклониться от осведомительства японских спецслужб!

Я так хорошо играл роль алчного предателя арийской нации, продажного нациста, что в Токио до самого конца войны никто не подозревал: моими устами идут нужные Кремлю «сливы» – якобы напрямую из «узкого круга» Гитлера.

Для СССР вопрос о том, чтобы избежать войны на два фронта (а в идеале навязать её Германии, как у нас в итоге и получилось), – был вопросом жизни и смерти. Вообразите, хотя бы на минуту, что США, Англия и Франция остались в стороне, а Германия и Япония вцепились в Россию с двух сторон! Между тем именно такой сценарий войны баюкал и лелеял Гитлер и его штабы. Ни для кого не секрет: он десять лет, как замороженный, твердил, что у него нет интересов на Западе, все его интересы на Востоке, в славянских пределах. Он уверял, и даже со страшными клятвами, что не хочет идти ни на Париж, ни на Лондон, а только на Москву.

От сталинской разведки и сталинской дипломатии потребовалось невероятное и тончайшее искусство, чтобы пустить мировые события по другому руслу: вырубить самого оголтелого союзника Рейха, Польшу, руками самих немцев, отвести в сторону Японию, направив её агрессию на юг... Как это обыденно читается сейчас, и каким трудным, маловероятным и почти невозможным казалось мне в 1938 году!

– Войны протекают по-разному, – передавала мне слова из ставки связная Аннэ «Мороз». – Но выигрываются они до войны. Если Гитлер пойдёт на Запад, а Япония на Юг – то мы выиграли эту войну, как бы ни складывались дела на поле боя. Если же Гитлер рука об руку с пилсудчиками пойдёт на Восток, куда паны рвутся больше него самого, если Япония пойдёт на Север – то мы проиграли, и никакой героизм нам уже не поможет...

Но Гитлер – скажу из личного опыта – хотел, чтобы инициатива исходила из Берлина, а не из Токио, – оттого неуклюже и подловато отверг «фальстарт» русской кампании, начатой японцами раньше, чем он считал нужным. Русско-японская война на Халхин-Голе, интенсивностью боёв превосходившая германо-польскую, шла с весны по осень 1939 года, конкретно говоря – до 15 сентября. Ещё летом Того смог «предугадать» заключение Пакта о ненападении между Германией и СССР, о чем и уведомил своё начальство.

Вы же понимаете, что он гадал не на кофейной гуще! Вы же понимаете, что множество советских дипломатов и тайных агентов помогли Японии понять, что Гитлер их предал и «второго фронта» на Западе открывать не собирается! А если бы японцы на это не «купились»? Простой вопрос, но у меня и доселе от него мороз по коже...

Так уж получилось, но «предсказания» японских дипломатов Того и Курусы, и присвоение мне в режиме строгой секретности Звезды Героя Советского Союза совпали по времени. «Чисто случайно», как в нашей среде всегда и бывает...

«Несмотря на предварительные планы совместного германо-японского нападения на СССР, в 1938–1939 годах Япония окончательно решила начать военную кампанию на юг, а не на север» – кратенько пишут про это в учебниках...

– Мы не поддержали японцев, – говорили Гитлеру ближайшие советники, – в итоге японцы могут не поддержать нас, когда пробьёт наш час...

– Куда эти косоглазые денутся?! – хорохорился фюрер в узком кругу соратников. – Как бы они ни были сейчас обижены – не захотят же они вместе со мной проиграть войну!

А японцы обиделись на него до такой степени, что действительно предпочли «вместе с ним», порознь воюя, проиграть мировую войну...

– Они двинут на юг, в Тихий океан?! – спрашивал Гитлер. – Не смешите меня! Там у Японии не хватит сил и ресурсов для самостоятельной победы.

И формально он был прав. Так и случилось. Но японской души он не понимал... Азиат Сталин читал в ней гораздо увереннее, чем европейский легион бесов, поселившихся в тщедушном теле фюрера германской нации...

Сыграй Сталин, фигурально выражаясь, на миллиметр левее или правее – и события пошли бы по худшему для России сценарию.

Уже в 1937 году делегация узкоглазых «арийцев», японских нацистов во главе с Титибу Ясухито, вовсю участвовала в съезде НСДАП, и Гитлер устроил ей торжественный приём. Десятки членов «гитлерюгенд» ездили отдыхать и учиться в Японию, «торя мосты». А я, помню, пребывал в противоречивом состоянии смертельной усталости и смертельного ужаса, хотелось одновременно и спать, и убежать, но в жизни нельзя было сделать ни того ни другого...

\* \* \*

– Хок! – доносились до меня бодрые выкрики. – Хок! Хок!

Это молодая немецкая супруга господина Того Эдита давала энергичные пасы совсем молодому инструктору по теннису на прекрасно оборудованном для дипломатов корте.

– Меня здесь больше не потерпят! – грустно сознался мне бывший Пак Мудок. – Для фюрера я как красная тряпка для быка или антикоммуниста... Ведь именно я составлял японскую часть Версальского мира... Главного позора Германской империи...

– Но лучше вас германиста в Японии нет! – ответил я комплиментом, потягивая коктейль из кокетливой трубочки, в тенёчке, за стеклянным столиком под навесом, в стороне от жарких теннисных баталий.

«У него ведь даже жена – немка, – думал я. – Эдита де Лаланде, вдова известного немецкого архитектора Георга де Лаланде. Один из его трофеев победителя в предыдущей мировой войне...»

В мае 1938 года в обращении к Рейхстагу Гитлер заявил, что Германия признает за Японией Маньчжоу-Го в Маньчжурии, и отказался от претензий на бывшие германские колонии в Тихом океане, камнем преткновения лежавшие между Берлином и Токио после того как Япония прибрала их к рукам. Благодарный Токио стал искать в послы кого-то, кто больше доверял бы немецким обещаниям, чем несгибаемый и опытный Того... Старина Того, который к любой гитлеровской «заманухе» не забывал добавлять фразу «по их словам», не выдавая желаемое за действительное...

Считая меня полностью в своих руках и, действительно, имея возможность в любой момент меня физически уничтожить, причём без особых усилий со своей стороны, бывший Пак позволял себе откровенничать со мной больше, чем с любым другим немцем. Я понимал, что это откровенность к смертнику, и в то же время понимал: это шанс. Мой – и России. Может быть, последний...

Закусывая сэндвичем на английский манер, бывалый дипломат в немного неловко сидящем на нём, но безумно дорогом европейском костюме спросил меня тихо и с виду незначительно:

– Как вы считаете, барон, можно ли доверять фюреру, когда он навечно отрекается от бывших германских колоний в Тихом океане?

– Вижу, вас беспокоит эта тема... – засмеялся я, изображая непосредственность и непонятливость дурачка.

– Ещё бы, герр Ацхель, она меня не беспокоила! Мы же оба, надеюсь, понимаем, о чём говорим?!

«А вот ты и попался, дружок!» – ласково подумал я. Но сказал, разумеется, совсем не это, а давно задуманное и отретпетированное, ждавшее в верховьях гортани моей своего часа:

– Изначальная и ключевая программа Гитлера, – развёл я руками, изображая, будто говорю неутешительную правду, – восстановление Германской империи во всей её полноте. Может быть, больше, но никак не меньше... Я не думаю, что фюрер может всерьёз кому-то отдать бывшие колонии кайзера, к тому же с таким символическим именем, как архипелаг

Бисмарка... Разумеется, политика требует заявлений момента, и фюрер делает такие заявления, но... Впрочем, есть лакмусовая бумажка.

– Да?! – оживился Того. – И какая же?

– Польша, – вёл я его напрямиком в силки. – Япония и Польша – два ближайших союзника тысячелетнего Рейха. Обе страны держат под собой бывшие земли Германской империи. Если фюрер взыщет долг с более близкой Польши, то можете быть уверены: по этому же сценарию он взыщет и японские долги...

– Интересный взгляд! То есть если Рейх атакует Польшу ради Данцига и Познани, то...

– То это будет претензия на архипелаг Бисмарка в Тихом океане! – улыбочиво покивал я из шезлонга. – Верните Германии германское, дня не проходит, чтобы я не слышал это от фюрера и других наших бонз по радио... Понимаете, декларации могут быть любыми, сейчас фюрер, исходя из нужд момента, может обещать что угодно, но я – человек горького опыта – привык верить делам, а не словам. У Данцига и архипелага Бисмарка совершенно одинаковый юридический статус: бывшая германская земля, находящаяся сейчас в собственности у союзника Германии. И если бы фюрер задумал начать с архипелага – то я бы поёжился на месте поляков...

– Спасибо за честность, барон! – умилился Того. – Очень, очень дельные соображения, и я их целиком разделяю... За то, видимо, меня и удаляют из Берлина... Я знаю, что вы патриот Германии, но вы ещё и рыцарь, а для рыцаря ложь нестерпима... Вы только что доказали: рыцари говорят правду даже тогда, когда это им совсем не выгодно!

– Хок! – снова пасовала Эдита Того вдалеке, энергичная и далёкая от политических дрызг. – Хок! Хок! Подача!

\* \* \*

В нынешнем Берлине вы уже не найдёте этого полуподвального ресторанчика на Курфдам, а от вполне живописной средневековой башни напротив него остались только руины: авиация союзничков поработала! Но в год моих частых и «страстных» свиданий с очаровательной финкой в этом месте стены дышали перевозданным и ненарушенным бюргерским уютом...

Меня тут устраивало всё, за исключением, может быть, дичайшего количества уксуса и перца в блюдах, которые так обожают прирождённые немцы: мне с моей русской кровью их никогда не понять. Зальца была маленькой, камерной, только для «своих», а массивная феодальная дубовая дверь, оббитая железом, – всегда заперта. Хочешь войти на Курфдармскую Кухню – изволь подёргать шнурок от колокольчика с другой стороны. Зато честь: открывает лично хозяйка! Это семейное дело, со времён Фридриха Великого – как она говорила (думаю, врал).

Хозяйка подводила меня к моему столику и оставляла с меню ждать вечно опаздывавшую Аннэ. Понимающе улыбалась: «Ваша фрау с характером, но её привлекательность всё искупает!»

Верхнюю одежду я, как положено у педантичных берлинцев, оставлял в прихожей, в огромном платяном шкафу, чьи потемневшие от времени резные барельефы были посвящены рыцарским турнирам. Аннэ же вредничала и шла в плаще до самого столика. И только тут, как бы нехотя, сбрасывала его на руки официантке...

Здесь – словно бы только для нас с Халла – властвовали неотмирные и вневременные тишина, приглушенный свет, силуэты темного дерева уже и тогда антикварной мебели. На столике, угловатом и массивном, как всё берлинское, хозяйка в честь нашей любви зажигала свечу в бронзовом подсвечнике. А в вазе дышали ароматами рая живые розы...

Я погружал Аннэ в обстановку старомодного аристократического ужина, в полумраке, на фарфоре с вензелем этого дома, под чарующе-спокойную музыку. Поскольку Халла всё время

злостно опаздывала, выбор блюд оставался за мной, и я мстил её пролетарской сознательности, заказывая что-нибудь вроде голубей в меду, или рыбное консоме, или парную ягнятину, с тонкой вариацией десертов...

Она обязана была играть, и отдам ей должное – она играла до мурашек выразительно, правдоподобно. Рука в моей руке, влюблённая улыбка, и всё время прижимается ко мне, что-то шепчет на ушко, видимо – думают окружающие – какой-то интимный секретик...

Шёпотом:

– Как же меня тошнит от тебя, Клотце! – И улыбка такая, как будто она собирается прямо тут за столиком мне отдаться. – Быстрее говори, зачем вызвал, я же не ужинать к тебе хожу!

И гладит мою руку своей ладонью, воркует...

Читатели шпионских романов знают, что шпионы обычно выкрадывают секреты из сейфов, а со связными встречаются в безлюдных местах, не иначе как задрав воротник тёмного пальто, в чёрных очках и нахлобучив шляпу ниже бровей. Так специально в романах пишут, чтобы ловчее схватить начинающих, неопытных шпионов.

Если шпион будет себя так вести, то его вскоре засекут. В Америке, где всем на всех наплевать, – через неделю-другую. В Рейхе, где население поголовно влюблено в своего вождя, млеет от него и не в меру бдительно, – через день-другой. Любой бюргер, завидя человека, крадущегося на пустырь с попытками скрывать внешность, – тут же сообщит «куда надо».

– Не уверен, что именно шпион... – скажет. – Может, и что-то чисто криминальное... Так что с того, проверить в любом случае надо!

Так что безлюдные места – не вариант. Особенно в тысячелетнем Рейхе, стране ассирийских кубических зиккуратов и карфагенских угловато-выпуклых, зло-величественных статуй.

Старая масонская поговорка гласит: «Хочешь остаться незамеченным – встань под фонарём». Чем меньше ты скрываешься, тем менее интересен объёму шпиономании обществу, охотящемуся на шпионов по детективным романам.

Меня с финкой в руке (я действительно всё время пытался обнимать Халлу то левой, то правой рукой) видели десятки глаз – но что они видели? Влюблённую парочку. Мотивы встречи двух голубков так понятны, так по-человечески очевидны, что совершенно банальны.

А ежели говорить насчёт «секретов из тайного архива» – то они в шпионской работе редки, да и малозначимы. Главное в деятельности секретного агента – быть «агентом влияния». Не столько воровать секреты, которые чаще всего – «секреты Полишинеля», сколько вносить нужную струю в их обсуждение – в нужное время и в нужном месте.

Например, попивая коктейли в японском посольстве и намекая японцам, что фюрер их приобретения после Версальского мира просто так им не оставит. О чём они и сами догадывались (тоже мне тайна!), но весьма важно было для них услышать это (их же собственное) мнение подтверждённым из уст человека «ближнего круга» Гитлера...

Мне кажется, моя Аннэ этого до конца не понимала – ведь её дело, по крупному счёту, маленькое, как у почтальона: взять письмо, передать письмо, – и считала меня бесполезным авантюристом на службе его величества Коминтерна, очковтирателем, больше интересующимся японскими коктейлями, чем японскими сейфами.

Когда я в обнимку доводил её до дома, то – в том случае, если она меня пускала к себе, – она демонстративно мыла «после меня» руки и умывалась, стряхивая с себя память противных прикосновений.

Если дверь за нами уже закрылась, а я замешкался снять объятия, то я получал довольно ощутимый удар локтем под рёбра, с мировой войны у меня переломанные, а потому хрупко-чувственные:

– Понравилось лапать, барон?! – свирепо рычала эта с виду такая юная и невинная девушка.

Без свидетелей она и на метр не подпускала меня к себе, потому что решительным образом (как она говорила) – не понимала моей мотивации.

Мой же вопрос был философским, хотя, по сути, очень простым и бытовым: могу ли я ещё что-то сделать? Или я уже, как многие белоэмигранты, на уровне Ивана Бунина – эстетствующий мертвец? Человек, который играет в бисер словесности ради одного лишь собственного удовольствия, потому что смысла в ней больше не видит никакого?

Если я теперь не нужен своей стране – значит, я и вовсе не нужен никому и ничему, себя самого включая. Но разве могла понять эта ограниченная девчонка с головой, набитой штампами, мои, такие растрескавшиеся под Солнцем жестокого времени, тропы в советскую разведку?

– А, ну понятно, – издевалась надо мной эта дрянь, раскидывая по плечам длинные прямые светлые волосы. – Эстетствующий мертвец с топором: муки Достоевского! «Ob ich eine zitternde Kreatur bin, oder ob ich das Recht habe» [«Тварь я дрожащая или право имею»]!

Аннэ цитировала перевод 1924 года, в котором немцы назвали знаменитый роман Достоевского «Verbrechen und Strafe». Теперь это библиографическая редкость, почти полностью уничтоженная гитлеровцами. Ныне, уже не в наши с Аннэ годы, стал куда больше известен классический перевод «Schuld und Sühne», где знаменитая фраза звучит совсем иначе...

– Так вот, барон: я вам не процентщица, и уж тем более, тем более не Сонечка Мармеладова!

– Аннушка, чем обязан такой вежливости? Снова?

– Думаешь, я не вижу, как ты на меня смотришь?

– И как я на тебя смотрю?

– Если бы мы с тобой встретились в России, ты бы не так на меня смотрел, у стенки!

– Перестань себя так вести! – наигранно и делано потребовал я от Аннэ, будто и вправду был салонным жуиром. – Может быть, когда-то давным-давно, до переворота, тебе приходилось хуже моего! Но те времена давно прошли, а после мне выпало точно не лучше, чем тебе!

– Ещё от феодалов я нотаций не выслушивала! – фыркнула красная чертовка.

Я старался быть объективным, рассудительным и понимающим:

– Ты пойми, Аннэ, всё не так, как ты видишь!

– Где уж мне! Я же снизу смотрю, а не с рыцарской дозорной башни!

– Никакой цели построить именно феодализм у феодалов не было, как, впрочем, и капиталисты никогда капитализма сознательно не строили. И мечты о «настоящей жизни» у людей в Средневековье были такие же, как у нас, и в феодализм этот, не к ночи будь помянут, они зашли, как ты в Рейх: только по нужде.

– По нужде сходить – минутное дело, а я тут с тобой больше года застряла...

– Сочетая мечту с реализмом, человек создаёт гибридные формы общежития. Так коммунисты, которые хотели свободы, равенства, братства, – пришли к карательным отрядам «Че Ка», чтобы грубо и кроваво убить тех, кто пытается грубо и кроваво убить их мечту...

– Bravo! – сказал мне голос, и раздались аплодисменты. Это был мужской голос, явно не Аннушкин...

## 7

...В устрично-двустворчатом кухонном проёме дверей показался незнакомый мне, но солидный мужчина, в партикулярном костюме, но с военной выправкой. Никакой теоретик расовой чистоты не обнаружил бы в его вологодском облике ни одной чёрточки, отклоняющейся от арийского стандарта. Однако я сразу понял – может быть, чутьём, наитием, а может быть, из-за этой, в общем-то чуждой немцам, арийской архангелогородской чистоты, – что передо мной мой соотечественник. С огромным риском и по очень важному делу приехавший пообщаться со мной лично...

Я должен был звать этого гостя «товарищ Трофимов», то есть использовать дешёвый и одноразовый, пустотелый псевдоним. Его настоящего имени и звания я тогда не знал, и даже теперь, спустя полвека, не имею права оглашать по советским, на мой взгляд, слишком переборчивым в части засекречивания всего и вся правилам. Намекну только, что был он уже тогда, исколесив инкогнито всю Европу, отнюдь не туристом, а в генеральском достоинстве...

Ожидая моего прихода, «инкогнито из Петербурга» листал берлинское издание книги Михаила Зощенко «Schlaf schneller, Genosse!» и теперь как бы невзначай (знаю я такие «невзначай») спросил у меня:

– А правда, что Зощенко – любимый писатель Гитлера?

– Ходят слухи, что да<sup>24</sup>... – как можно осторожнее начал я.

– Ну ладно, ладно, – понял он моё смущение, – не про литературу я с вами приехал поговорить...

Мы сели в захламлённой (и не сказать, что это женское гнездышко!) гостиной. Аннэ подала на чёрной большой сковороде Bratkartoffeln [жареную картошку] на постном масле, с маринованными Milchpilze [груздями], отчего вышли ностальгические для меня, совсем русские, солдатские посиделки. Когда мы с ней кушали дома, не «опускаясь» до ресторанов и кафешантанов, она готовила очень просто. Но не безыскусно! Скажу по правде: хотя, может быть, это фокусы памяти, но ничего вкуснее, чем её хрустящая на зубах картошка с груздями, я в своей жизни балованного гурмана не едал...

Пока Халла возилась у плиты, Трофимов подмигнул мне и заговорщицки, с пониманием спросил в рамках мужской солидарности:

– Задирает она вас?

– Не то слово! – засмеялся я. – И меня задирает, и нос!

– Суровая дамочка! – сознался мне Трофимов с той особо обаятельной улыбкой простонародного смущения, которая получается только при владими́ро-суздальском скуластом типе лица. – Я, Александр Романович, порой и сам её побаиваюсь...

\* \* \*

– Почему она такая злючка, товарищ Трофимов? – потряхнул я морок неприятных, да и попросту постыдных воспоминаний.

Он стал официальным, торжественным:

– Александр Романович, прошу относиться к этим эксцессам с пониманием, у неё белофинны расстреляли и отца, и мать.

---

<sup>24</sup> Согласно воспоминаниям Альфреда Розенберга, Геббельса и Альберта Шпеера, творчество Зощенко так сильно нравилось Гитлеру, что он вспоминал его и цитировал на протяжении нескольких месяцев. «Гитлер пересказывал отрывки, пока не начинал задыхаться от смеха. Борман получил приказ послать шофера в Мюнхен и для каждого из нас купить по книге. Я так и не узнал, что ему больше нравилось: юмор Зощенко или его критика Советского Союза», – писал Шпеер.

Я шокированно отшатнулся:

– Она ничего не рассказывала...

– Она ничего вам не расскажет, что не считает относящимся к делу. Её отец, видный был социал-демократ, командовал отрядом «пожарной охраны»<sup>25</sup> Финляндской социалистической рабочей республики, а мать – кончили за компанию. Понимая, через что прошла эта девочка, мы прощаем ей некоторые перегибы...

– Я тем более! Я даже не теряю надежды...

– А вот это напрасно. С Аннушкой в такие игры лучше не играть... Нервная она очень. Живём все – как на Везувии, а она – женщина, острее чувствует, Александр Романович...

Что правда, то правда. Мы заседали на кромке уже ожившего вулкана. Мы беседовали в обстановке, когда военный союз Германии и Польши, собственно, и открывший собой Вторую мировую войну, начал первую в этой войне агрессию с самого слабого противника: несчастной Чехословакии.

Первым делом я передавал «Трофимову» самое старое. Я передал кадр, которым хвалились нацисты, из кинохроники<sup>26</sup>: английский король Эдуард VIII учит наследницу престола (будущую королеву Елизавету II) и ее младшую сестру нацистскому приветствию «Хайль Гитлер!». На другой фотографии молодой британский принц улыбался под свастиками в окружении немецких нацистов.

– Это не секретные документы, – пояснил я. – Это имперская пропаганда. Здесь, в Рейхе, этим очень любят хвастаться!

– Мы в курсе, – деловито кивнул Трофимов. – Кинохронику нам уже переслали.

Мы с ним оба понимали, что «принцы принцами», но пасует в глобальной игре теперь Япония.

– По японцам вопросы ещё есть, – сказал я, как человек, глубоко погружённый в тематику закулисья. – По полякам уже нет...

– Ну а что поляки? – живо придвинулся ко мне Трофимов, так, что даже скрипнуло под ним плаксиво потёртое угловатое кресло клетчатой обивки.

– Варшава инициативу общеевропейского похода на Восток принимает с восторгом, – печально сознался я, как будто был в этом виноват. – Поляки из штанов выпрыгивают от этой идеи! Мои знакомые «наци» жалуются, что поляки их просто изнурили теревить за рукав мундира, канюча поход на Москву.

– Войдут, как вы считаете?

– Поляки – точно. Да они, собственно, никуда и не выходили, чтобы входить... Немцы, по крайней мере, из знакомых мне, сомневаются, жмутся. Поляки же для себя всё давно решили...

– Вы думаете, прямо-таки всё?!

Я был уверен в том, что говорю, железно и твёрдо гарантируя подлинность.

– Товарищ Трофимов, – сказал я, игнорируя фырканы Аннушки, – немцы могут быть врагами или друзьями, но они настоящее государство.

– А Польша?

– А Польша – нет...

– А тогда что такое Польша?

«Уродливое детище Версальского сговора» – назвал Польшу нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов, но это блестяще-верное определение прозвучало несколько позже нашей беседы с Трофимовым.

– Польша, – рёк я своё, выстраданное мнение, – это гнойник перекисшей спеси вечного раба, грезящего о воображаемой, несостоявшейся империи. Это бочка, в которой бродит гниль

---

<sup>25</sup> Самоназвание отрядов народного ополчения «красных финнов» в 1918 году.

<sup>26</sup> Лента кинохроники была опубликована газетой «The Sun».

человеконенавистничества и изуверства. Это скопище мертвецов, нежизнеспособных уродцев истории, которые сами по себе, без чужой потачки, выжить не могут, – но в отместку за свою неполноценность хотят всех на свете сделать такими же мертвецами, как они сами...

– Однако! – крикнул Трофимов, несколько ошарашенный моим напором.

– Я же вам говорила, что он нацист! – хмыкнула предательски Аннушка «Халва», от злости ещё более красивая, но в стройной гибкости своей змееподобная.

– Аня, в этом есть безусловная доля истины... – смущённо кашлянул, словно извиняясь, генерал в штатском.

– Официальная Польша созрела и перезрела для вербовки Гитлером! – отрезал я более предметно.

В самом деле, кому интересны мои великодержавные истерики? Надо говорить факты и не влезать в оценочные суждения...

Трофимов стал читать убористые фотокопии, в спешке «нащёлканные» в Варшаве моим сослуживцем Сухревичем и его коллегами. Использовал мощную лупу: иначе текст не смог бы разглядеть даже и самый зоркий чтец. Аня «Халва» расставляла чайные пары на застиранной скатерти овального гостинного стола. Через плечо заглядывала в чтиво начальника...

– Излишне доверять не стоит, – вмешалась она вдруг в ход его мыслей и впечатлений, скептически скрестив руки на своей высокой, резко очерченной, соблазнительной груди. – Его всем этим кормят дружки – белоэмигранты! Прочитать полезно, но желательно критическим взглядом...

«Товарищ Трофимов» посмотрел на меня куда более кротко, чем метавшая громы и молнии пламенная Аннэ.

– Что, действительно, документы вам доставлены белоэмигрантами?

– Ну а кто, по-вашему, будет на меня выходить с такими документиками? – пожал я плечами. – К барону Ацхелю-Теобальду-Вильгельму Лёбенхорсту фон Клотце? Агенты Коминтерна сидят в очереди в моей приёмной?!

– А у вас есть приёмная?

– Нет, у меня нет приёмной. Но есть сослуживцы, по «белому делу», которые находятся на польской службе. Они и передают.

– Они думают, что передают всё Деникину! – наябедничала Халла.

– Деникину? Зачем? – вздёрнул брови «московский гость». – Деникин отставник и частное лицо...

– Он им наврал, что нет... – скривила хорошенькое личико Аня «Халва» и на миг даже стала, что нетипично для неё, некрасивой от гримаски ребячливой вредности. – Наврал своим «белякам», что Деникин завел штабик...

– Да? – Трофимов казался совсем сбитым с толку. – Но зачем?!

– Затем, – сказал я немного грубовато, как повара, когда гостям не нравится их выпечка. – Чтобы у них не было лишних моральных терзаний! Устраивает это вас? Вам документы нужны, или чтобы я всех в красную веру окрестил?!

– Я о другом, Александр Романович... – извиняющимся тоном вкрадчиво уточнился гость. – «Белые» делают это, рискуя карьерой и жизнью. Почему, как вы думаете?

– Ну, потому что русский, если не потерял себя совсем, – мечтает и надеется служить России, какой бы она ни была...

Аннэ снова презрительно фыркнула.

Первой в моей подборке шел протокол записи беседы французского министра иностранных дел Боннэ с польским послом Лукасевичем. От себя и от англичан Боннэ в который уже раз просил Польшу не усложнять положение, не мешать «отнестись положительно к франко-английским усилиям, направленным к мирному разрешению конфликта в Чехословакии».

*«В высшей степени неприятным и опасным является то, что господин министр (имеется в виду польский министр Бек) не только отказывается сделать в Берлине демарш, в котором французское правительство так заинтересовано, но и отказывается уточнить позицию Польши в случае франко-германского конфликта, а ещё сверх этого выдвигает новое требование, причём в такой острой форме, что это чревато новыми трудностями и новыми опасностями»<sup>27</sup>.*

– Типично польская наглость! – зло сузил глаза «Трофимов», откладывая глянцевою коробящуюся в трубочку фотокопию и протирая глаза ладонями, как делает человек в предельной сосредоточенности.

В комнате быстро сгущались берлинские маслянистые сумерки, зависла тишина. За высокими узкими окнами Аниной гостиной нервно клаксонили спешившие куда-то машины большого города, по касательной, безмянно соприкасаясь с нами своей торопливой тревогой и моментально исчезая во тьме минувшего, безмянные и призрачные...

– Франция, – говорил мрачный Трофимов, на вид словно бы разочарованный, – союзник и гарант Польши, чуть ли не «крёстная мать» Польского государства! И как же ведет себя Польша с ближайшим, надежнейшим и важнейшим союзником?

– Вы меня спрашиваете?! – изумился я.

– Ну, а кого ещё мне спросить? Вас и Аню...

– Имеем, что имеем... – развёл я руками.

Ещё один документ был копией письма Боннэ полякам. Письмо почти официальное, согласно грифу с него сделано 60 машинописных копий, автор был почти уверен, что попадание этого письма в руки мировых разведок ничего не ухудшит:

*«...Польша вопреки союзническому долгу и существующим соглашениям с Францией на случай агрессии Германии заявила дословно следующее: „В случае крупных осложнений мы оставляем за собой право принимать решения“».*

*«...Опровержение произвело на общественное мнение Франции самое тяжёлое впечатление. Общественное мнение Франции переживает большое разочарование в связи с позицией Польши, и, несомненно, оно было бы в высшей степени потрясено, если бы ему стало известно, что Польша не только отказалась сделать демарш в Берлине и уточнить свою позицию в случае франко-немецкой войны, но и готова ещё более ухудшить обстановку, выдвигая свои требования в очень острой форме»<sup>28</sup>.*

Я брезгливо подержал в руках и передал Трофимову фотокопию донесения польского посла в Берлине Липского в МИД Польши Беку. Липский «два раза подчеркнул» в беседе с Гитлером и Риббентропом сущность польских территориальных притязаний на Тешин-Фриштат и Богумин-Одерберг. Липский с гордостью сообщил Гитлеру о жёстком демарше Варшавы перед правительствами Англии и Франции.

Гитлер предложил принять систему совместных гарантий Германии, Польши, Венгрии и Италии. «Я сделал заверение об этом от имени польского правительства», – хвастается начальству Липский.

<sup>27</sup> Документ опубликован в сборнике «Документы и материалы кануна второй мировой войны». М.: МИД СССР, 1948. С. 132.

<sup>28</sup> Ук. издание, стр. 138.

Гитлер во время беседы с Липским ободряюще «настойчиво подчеркивал, что Польша является первостепенным фактором, защищающим Европу от России», и польский посол принял это с благосклонностью.

Гитлер говорит Липскому о своем варианте «решения еврейской проблемы».

*«Если это найдет своё разрешение, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве»*, – отвечает польский посол, и это официальная позиция направившего его правительства.

Вот ещё документ, отчитывается генерал Гамелен, представляющий англо-французский блок в беседе с маршалом Рыдз-Смиглы:

*«Вопрос о возможной материальной помощи и о помощи сырьём со стороны Советской России (Польше) был поднят мной, но маршал Рыдз-Смиглы решительно отклонил какие-либо переговоры или дискуссии на эту тему».*

А вот другое донесение захлёбывающегося от восторга Липского:

*«Риббентрон заверил, что Гитлер определённо стоит за удовлетворение польских и венгерских территориальных требований».*

Через несколько дней Липский докладывает:

*«Фон Вейцекер... отметил, что он хотел бы, чтобы завтра наш военный атташе, с соответствующим компетентным лицом из штаба, нанёс на карте демаркационную линию с тем, чтобы на случай возможных операций не произошло столкновения между нашими вооружёнными силами. Я ответил... что прежде всего считаю необходимым установить с ним территорию наших политических интересов в Чехословакии».*

И вот главное! Вот то, чего вожделяют одни и чего трепещут другие, отчего истерика у моего московского начальства, и что следует предотвратить любой ценой:

*«На случай занятия Германией всей Чехословакии г-н фон Риббентрон считает полезным ещё более уточнить взаимные политические и военные интересы... Прошу также выслать инструкции на случай военных действий и выхода Германии за линию её непосредственных интересов в Чехословакии...»*

А вот и официальный «План Геринга о разделе Чехословакии между Германией и Венгрией, с передачей Тешинской Силезии Польше», он «не является тайной»<sup>29</sup>.

Отношение к Польше в Лондоне по фактам её поведения описано в письме Липскому польского посла в Великобритании пана Рачинского.

*«Что касается премьера, его друзей и его прессы, то не подлежит сомнению, что мы наталкиваемся здесь на большую сдержанность».*

– Убедились, чего хотят поляки? – торжествовал я, подбоченясь в позу «злого гения», и через то сам себе (а тем более Аннэ) был смешон.

– Для нас это не новость, – сказал Трофимов, тем не менее, убирая копии к себе во внутренний карман. – Мы это знаем по матчасти...

– Да?

– Ну, нетрудно увидеть, к чему готовятся паны: все тыловые службы, все базы снабжения и резервные арсеналы польской армии буквально прижаты к немецкой границе. Подальше от греха, сиречь от будущего фронта польской фантазии. То есть – советского фронта...

---

<sup>29</sup> Там же, стр. 137.

Мы беседовали в год, когда максимальной популярности добилась «Liga Morska i Kolonialna» («Лига морская и колониальная»), в которую вступили миллионы польских нацистов. Они мечтали, что у Польши появятся «наконец» колонии. Поляки собирали в тот год огромные митинги, затапливая площади горячечной, возбуждённой толпой, и требовали (плохо понимая, как на самом деле заводятся колонии) отобрать Мадагаскар у Франции, Мозамбик у Португалии...

Так что мы с моим визави оба прекрасно понимали, о ком говорим, о чём говорим, и мне оставалось только поддакнуть:

– Ну, сознаюсь по чести, меня это несколько не удивляет... За нас действует разве что весьма странный психологический фактор.

– Очень интересно...

– Понимаете, на русское счастье, Гитлер лично и персонально ненавидит и презирает «польскую мразь». Вопросы неготовности, стратегические сомнения играют свою роль, но есть и это, иррациональное, по наитию, отвращение к «вислоусым».

– Каким?

– Он считает, что вислые славянские усы – признак вырождения...

– Не доверяет, значит, Варшаве? – улыбочиво приосанился мой собеседник. – Неразделённая любовь, значит?

– Как у меня к Аннушке... – салонно схулиганничал я.

– Он сравнивает меня с Гитлером, – оскорбилась финка, вспыхнув маковым цветом. – Это унижительно!

– Аннушка, я себя сравниваю с поляками, а это ещё унижительнее!

– Пожалуйста, прекратите! – прервал нашу пикировку начальник, впервые чуть возвысив голос. – Вы оба взрослые серьёзные люди, с важной миссией, как вам не стыдно?! Как вы собираетесь вместе на общее дело работать при таких отношениях?!

Анна прикусила язычок, а я склонил голову с печальным словом «каюсь».

И мы вернулись к деловому разговору, понимая, как дорого время нашему гостю, нелегально пробравшемуся в Берлин.

– Гитлер не доверяет полякам?

– Ну, как сказать – не доверяет? – пожал я плечами, стараясь не глядеть на Халлу. – Смотря в чём... В жажде Варшавы резать русских – он вполне доверчив. Одно его «фас» – и эти псы тут же бросятся в сторону Минска, пену с морды роняя! Фюрер сомневается в другом: нужно ли это ему? Понимаете, немецкая идеология – это расширение жизненного пространства за счёт славян, как у англичан вышло с индейцами. Тут этого никто не скрывает, а главное – никто не сомневается в такой необходимости: если есть народ-господин, то должны быть и народы-рабы, иначе какой же он господин? Над кем? И в этом смысле планы фюрера на поляков даже хуже, чем на нас. Нам-то он планирует оставить обширные резервации в северных районах, где немецким колонистам было бы слишком холодно жить. А вот земли, захламлённые польским мусором, – должны быть зачищены полностью, потому что они во всех смыслах ближе всего к Германии.

\* \* \*

Несложно понять, что коммунисты строили на Германию свои, коммунистические виды. Всё пролетарской революцией грезили! А как виды строишь – то в итоге и увидишь. Мой товарищ «Трофимов», глядя на меня с умоляющей надеждой, рассказал, что посетил в Берлине ресторан и увидел в обычном ресторане... поголовно вегетарианцев! Все они хлебали что-то овощное и жидкое, не есть ли это правда за парадным фасадом?

– Нет, – огорчил его я, – это наши местные заморочки другого рода. Вы, наверное, были там в воскресенье?

– Как вы догадались?

– Это инициатива фюрера: в третье воскресенье каждого месяца немцам полагается отказ от всего мясного, а сэкономленные деньги они кладут в специальную копилку, как подтверждение общенациональной бережливости.

– И что, это строго проверяется?

– Нет, это совсем не проверяется. Но немцы сами о себе говорят, что «послушны, как трупы». Они следуют приказу.

– А вы?

– Я? Да с какой стати? У меня свои посты, православные!

– Может быть, мы что-то просмотрели, Александр Романович? – морщился «мон генераль», словно у него зуб болел. – Прогостили? Капитализм Гитлер оставил?

– В неприкосновенности.

– А уровень жизни вырос, и абсолютное обнищание не состоялось?

– Вырос. И не состоялось.

– Как такое возможно и почему?

– Видите ли, любое твёрдое, что пришло на смену либеральной дрифтне, – поднимает жизненный уровень. Само по себе. Потому что опускать его ниже обычно некуда.

– Да?! – Москвич казался удивлённым и даже заинтригованным. – Почему?

– Потому что, – снисходительно, на правах бывалого, разъяснял я этой любознательной «жертве санитарных кордонов», – либералы сами воруют, как ни в себя, и всем остальным это разрешают, под лозунгом «великой свободы». А любой диктатор, сам воруя, другим не даёт – руководствуясь первобытным, примитивным, но оттого особенно устойчивым инстинктом хищника, защищающего свою территорию. Понимают это люди, не понимают – но объективно, в любом случае количество воров сокращается, и хозяйственные циклы так или иначе налаживаются...

Жилищная политика Гитлера ориентирована на семью, причем преимущественно на многодетную. Каждой семье поступает помощь в размере 100 рейхсмарок. И это немало, тем более что цены на продукты, бешеные и кусачие в 20 годах, плавно снижаются. Полагаете, толпа этого не заметит и не оценит?

– То есть вы думаете...

– Не столько думаю, сколько вижу и пережил. Либералы – лжецы от корня. Вот представьте, что удав заворачивал бы кролика не взглядом, а словами. Эдаким потоком успокоительного бормотания, которое воздействовало бы парализующе и мешало бы жертве убежать...

– Ну представил, и что?

– И всё. Либералы, когда говорят, убеждают, уговаривают, приводят ими же сперва придуманные или перевёрнутые «факты», рисуют какие-то графики – именно так и делают...

– А в чём смысл?

– А в том, что вы сдохнете, а они ваш табачок выкурят...

– Кабачок? – не расслышал Трофимов.

– Ну, и кабачок тоже... – не стал я мелочиться.

\* \* \*

– Правда ли, что Токио отзывает Того и хочет заменить его Курусой?

– Правда. Я это слышал от самого Того. Дело решённое.

– Тогда вот это нужно передать Того на дорожку...

«Московский гость» достал из увесистой кожаной папки свои фотокопии документов. Одного беглого взгляда на них было достаточно, чтобы увидеть: это копии планов атаки на бывшие германские владения в Тихом океане. Разрядки на корабли, экипажи, личный состав, последовательность высадок...

Я снисходительно улыбнулся – и это не осталось незамеченным для собеседника.

– Вам что-то кажется неправильным?

Я несколько не сомневался, что в недрах германского Генштаба имеются и такие планы. Эти, которые привёз мне Трофимов, скорее всего, слеплены липачами с Лубянки, но вряд ли чем-то, кроме деталей, отличаются от подлинных.

Всякая великая держава имеет в генштабе планы на случай войны со всеми великими державами. По понятным причинам их не афишируют. Но, по столь же понятным причинам, в их существовании никто не сомневается. Надо великой державе себя не уважать, чтобы не завести, на всякий случай, хотя бы наброски плана войны, например с Японией...

– В этом-то вся и проблема, – объяснил я Трофимову. – Японцы знают, что такие планы в германском генштабе есть: просто потому, что по уставу должны там быть. Некоторый психологический эффект, конечно, произведёт, но сенсацию – нет.

– Вы так считаете?

– Я это знаю.

– Понимаете... – Трофимов казался заискивающим уговорщиком. – Того сам об этом думает. Вы с ним об этом говорили и показались ему логичным... Теперь, как бы подтверждая ваши слова, вдогонку... Вы перед отъездом передаёте это Того... Как надёжный источник для японских властей...

– Нет.

– Что, простите?!

– Нет. Я дождусь, пока Того уедет, и передам это Курусе.

– Вы с ума сошли, Клотце?!

– Охлаждать нужно горячее. Охлаждать холодное нет смысла.

– Есть мнение, что документы такого рода должны попасть в руки противника войны, а не её горячего сторонника!

– От противника их воспримут просто как продолжение его нытья. А от сторонника – как охлаждающий душ на голову.

– Я понимаю вашу логику, Александр Романович. Но что, если Куруса, как большой симпатизант гитлеровского Рейха, попросту скроет эти документы от высшего политического руководства? Должны мы учитывать такую возможность?!

– Да, – согласился я. – Куруса большой симпатизант Берлина. Но служит он всё же своей империи, а не германской. Уклониться от передачи важнейших документов – на такое он не пойдёт. Уверен. Он может их сопроводить смягчающими комментариями, не скрою, но... Поймите, такого рода документы, переданные в Токио Курусой, будут на порядок сильнее, чем переданные туда Того! Старина Пак давно уже воспринимается в имперских кругах как нытик, который не хочет войны, и эти документы – всего лишь лыко в строку его давно всем известной позиции... А вот если угрозу архипелагу Бисмарка озвучит принципиальный ястреб, сторонник японо-германского сближения, тогда им цена совсем иная!

\* \* \*

Квартиру острая лезвием финка Аннэ Халла снимала небольшую, но с высокими потолками и готической мебелью, потемневшей от времени, и главное достоинство этой квартирки было в возможности наглухо загородиться от всякого случайного взгляда по-пруски тяжё-

лыми, двухрядными суконными шторами (в моём мире писали – «сторами»). К картошке с груздями неистовая валькирия Совдепа подавала нам шнапс...

Мне не привыкать к словам, которые меняют значение до полной неузнаваемости. Германия, за долгие годы её несчастий, связанных – будем честны – с её нападением на Россию, от коего на смертном одре заклинал великий Бисмарк, хватая руку не соответствующего личности полученным масштабам власти очередного кайзера, – прочно выучила, что шнапс – это картофельная самогонка. То есть вонючий и мутный продукт неумелой перегонки картофельной браги. Германия так к этому привыкла с 1914 года, что и весь мир в этом убедила.

Но при Гитлере в Рейхе стали (правда, лишь на несколько лет) появляться настоящие, первородные, австрийские шнапсы. Фруктовые лёгкие бренди, которые называли «Обстлер»<sup>30</sup>, потому что все уже привыкли, что шнапс – корнеплодная сивуха...

Настоящий шнапс (пардон, по-новому «Обстлер») готовился в медных горшках, и он делится на «Obstwasser» (яблочный или грушевый) и «Zwetschgenwasser» (сливовый). Так что, когда я говорю, что мы с товарищем Трофимовым и неугомонной Аннэ Халла пили шнапс, – надобно уточнить, что мы пили сливовый шнапс, дабы невольная дама моя не предстала дешёвой алкоголичкой, лакающей чего попало...

– Скажите, – тихо спросил меня московский важный гость, дождавшись, пока Аннэ уйдёт обновить нам закуску. – Как так получилось, Александр Романович? Что весь мир против нас?

– Он не против нас, – ответил я. – Он против самого себя. Конечно, может создаться впечатление, что все хотят уничтожить коммунистов. Но оно ложное. Потому что на самом деле все хотят уничтожить всех. Им плевать, коммунистов жрать или не коммунистов, волкам нужно мясо, а чьё – неважно. Все хотят сожрать всех, и только наша страна хочет, чтобы люди прекратили жрать друг друга. Но делает она это в гордом одиночестве...

– Пока... – попытался сугубый практик разведки, мой высокопоставленный собеседник, прильнуть к марксистскому историческому оптимизму.

– Ну, будем надеяться, что пока... – кивнул я.

А что ещё я мог сказать моему красно-пролетарскому коллеге, такому близкому и такому чуждому, такому родному – и такому непонятному?

\* \* \*

Главную беседу московский гость припас на последний вечер наших посиделок у Аннэ. Точнее, правильно сказать, «полежалок»: он жил у Халлы, я оставался у неё, она стелила нам, раздвинув диван в гостиной, «валетом», так, чтобы я мог сполна вынюхать онучевый аромат его ног у своего лица, а он – баронских породистых стремениных, но так же, как и у всех, потеющих, пяток.

Это было очень мило в своей простоте нравов, очень по-советски, коммунально, и я наслаждался, хотя московский генерал, думаю, куда менее моего такое одобрял. Однако служба прежде всего, и он делил ложе под одной простынёй с резидентом-нелегалом, чтобы наша Аннушка могла почивать одна в своей спальне, равно дорогая нам с ним своим целомудрием.

Нетрудно догадаться, что наш «валет» спал мало, а всё больше говорил, под скрип диванных пружин, которые казались мне голосом новой Родины, в полумраке берлинской старомодной комнаты, по лепнине потолка которой призраками пробегали всю ночь фары проезжающих мимо дома автомобилей.

– Я, по заданию самого высшего руководства, – Трофимов убедительно ткнул пальцем в потолок, что, видимо, должно было вызвать во мне священный трепет, – хотел бы поговорить с вами о Гитлере, как с человеком, который лично, давно и хорошо с ним знаком.

<sup>30</sup> От немецкого слова «Obst», означающего плод.

– Я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, – хотя предмет беседы удовольствия мне не доставит...

– Мы в Москве из всех доступных источников составили комбинированный портрет личных особенностей Гитлера. Прежде всего, вы, как непосредственный свидетель, развеите наши сомнения: правда ли, что он физиологически всё время невероятно гримасничает и постоянно пребывает в каком-то беспокойном движении? Дело в том, что независимо друг от друга сразу несколько человек указали на это...

– Я могу только присоединиться. А почему вы в этом сомневаетесь?

– Ну, как бы... Властитель дум миллионов европейских людей, фанатично преданных ему... И вдруг какой-то образ обезьяны! Не вяжется...

– Поверьте, он смолоду такой. Он всё время неистовствует. Чуть что – начинает орать. Причём орёт дико, и при этом бегаёт кругами. Зачем – сказать не могу, я не психиатр. Но факт остаётся фактом. В нашем узком кругу он практически всё время вёл себя как не владеющий собой человек.

– Это его сущность? Или всё же игра? В Москве склоняются к тому, что это игра умелого актёра...

– Понимаете, я рассказываю о закулистье. Актёр он на публике – когда выходит перед толпой, то несколько комично принимает осанку повелителя, довольно грубо играет в римского императора. У него на этот счёт своя сценическая система, не по Станиславскому. Например, он думает, что если идти к трибуне через зал, не сгибая ног в коленях и застыло приподняв правую руку, то его будут больше ценить и восхищаться.

– Откуда он это взял?

– Не знаю. Но это работает. Как видите. Увы. Перед зеркалом он подолгу репетирует набор мимических масок. Он считает, что мина должна застывать, как гипсовая, и тогда в ней застынет его величие, как в монументе. Когда он пытается играть, то он играет монумент. А когда он становится сам собой – то это примат. Он прирождённый шут, бесталанный, но влюблённый в шутовское ремесло. Он полагает, что истинно овладеть толпой могут только шуты, что искусство власти – это искусство удерживать внимание толпы, а лучше всего это получается у клоунов.

Если ему кто-то не нравится, не угодил – то он не просто ругается. Он делает это с бешеным рёвом, и тогда кажется уже быком, а не обезьяной. Он изрядный сквернослов, причём, когда он кроет матом, у губ его выступает пена, как у эпилептика.

– Он эпилептик?

– Нет, не в медицинском смысле. Это у него неврастеническое. Нынче в Рейхе об этом не принято говорить, но у Гитлера много судимостей, и львиная их доля – штрафы за мелкое хулиганство. Пока он не пришёл к власти, его постоянно наказывали за неприличное поведение в общественных местах, по-веймарски: мягко, но систематически.

– Вы это верно знаете, Александр Романович?

– Как же мне этого не знать, когда он несколько раз занимал у меня денег, чтобы покрыть очередной штраф! Когда он пришёл к власти, он вспомнил, что не вернул мне часть таких долгов, и приказал возместить в десятикратном размере. Моя расписка о получении рейхсмарок ушла в рейхсканцелярию, дело ведь очень нестандартное, и немцы искренне не понимали – какому ведомству его можно поручить? А копию выдали мне.

– Она у вас?

– Да.

– Она вам очень нужна?

– На кой чёрт мне её хранить?!

– Вы не могли бы отдать её мне? – попросил Трофимов. – Для моего начальства? Ведь это такое важное подтверждение для психологического портрета Гитлера!

– Конечно, товарищ Трофимов, я её найду – и через Аннушку передам. Впрочем, для тех, кто знаком с Ади, – она ничего не добавит к его образу. Тут все знают, что он бешеный. И – отдадим ему должное – он ничего не забывает. Как с этими мелкими долгами... Это в Германии все знают. А вот важное, действительно значимое, что я хотел бы передать нашему высшему руководству, – в другом. Гитлер имитирует членораздельную речь, но на самом деле у него нет членораздельной речи.

– Как так?!

– А вы внимательно прислушайтесь! Я уж скоро двадцать лет как это слушаю, было время сделать семантический разбор... Поток его мутных словесных излияний невозможно не только остановить, что у нас уже никто и не пытается сделать, но и понять. Кстати, как и у Розенберга. Там нет логики, нет связки, нет никакого рационально-постижимого смысла. Это имитация членораздельной речи, которая умелой расстановкой интонаций вводит толпу в гипнотический транс... Волшебство, если хотите – но не речь. Гитлер воздействует напрямую на подсознание людей, на спинной мозг, на зону рефлексов, обходя зону логического анализа. Я не знаю, можно ли говорить о владельце такого искусства, как о человеке. Скорее это делает бес, демон...

– Вы, надеюсь, аллегорически?

– Нет. Буквально. В прямом смысле слова. Понимаете, я лучше многих знаю Гитлера как человека, и как человек он – пустое ничтожество. Прежде всего, с точки зрения человеческого измерения, – он глуп. У меня далеко не блестящее образование, на медные деньги меня учили в Петербурге... Однако каждую банальность из краткого курса мировой истории Гитлер ловил от меня как откровение. Я не знаю, как при его феноменальной памяти получается оставаться настолько тёмным и неначитанным... Может быть, это связано с тем, что он ничего не читает и редко слушает, а чаще говорит. А когда он говорит – все должны молчать. И по сути, вся его феноменальная память – это память им же сказанного и как кто на его слова отреагировал...

– Как такое возможно?

– А я не знаю. Я же говорю – бес, но вы мне не верите... Ладно, специально для марксистов постараюсь говорить языком Дарвина! Ну, смотрите, коммунизм засветил народам, как фингал, – идеал высшего порядка. Те, кто не очень против высшего идеала – не очень враги коммунистам. Немножко враги, но немножко и потатчики. Говорят – «круто взяли господу большевички, а всё ж в верную сторону»<sup>31</sup>. Надо бы «тех же щей – только пожиже влей»<sup>32</sup>. От таких расщеплённых, раздвоенных врагов<sup>33</sup> коммунистам больше пользы, чем вреда. С такими врагами коммунистам и друзей не нужно!

– Что вы этим хотите сказать?

– То, что подлинным врагом коммунизма может стать только полная его противоположность, которая выставит против высших идеалов человеческой цивилизации всё самое низмен-

---

<sup>31</sup> Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) о советской власти: «Я полагаю, что очень многое в программе коммунистов соответствует требованиям высшей справедливости и духу Евангелия. Я тоже полагаю, что власть рабочих есть самая лучшая и справедливая форма власти. Но я был бы подлым лжецом перед правдой Христовой, если бы своим епископским авторитетом одобрил бы не только цели революции, но и революционный метод. Мой священный долг учить людей тому, что свобода, равенство и братство священны, но достигнуть их человечество может только по пути Христову – пути любви, кротости, отвержения от себялюбия и нравственного совершенствования».

<sup>32</sup> Великий князь Александр Михайлович о большевиках: «... Мне пришло в голову, что, хотя я и не большевик, однако не мог согласиться со своими родственниками и знакомыми и безоглядно клеймить все, что делается Советами, только потому что это делается Советами. Никто не спорит, они убили трех моих родных братьев, но они также спасли Россию от участи вассала союзников... Некогда я ненавидел их, и руки у меня чесались добраться до Ленина или Троцкого, но тут я стал узнавать то об одном, то о другом конструктивном шаге московского правительства и ловил себя на том, что шепчу: „Браво!“»

<sup>33</sup> Крупнейшие интеллектуалы Англии первой половины XX века – Сидней и Беатриса Вебб, Э. Кеннан, Джордж Дуглас Ховард Коул, К. Блэк, Роберт Блэтчфорд, Томас Балог, Джон Мейнард Кейнс, Бертран Рассел, Уильям Беверидж, Ричард Генри Тоуни, Эдит Несбит, известные писатели Бернард Шоу и Герберт Уэллс критиковали СССР за... торопливость. Они противопоставили коммунистам т. н. «фабианский социализм» – при котором преобразование капитализма в социалистическое общество должно происходить эволюционно, мирно, плавно, постепенно, медленно (в этом смысл слова «фабианский»). Но саму необходимость перехода от капитализма к социализму они и не думали отрицать!

ное, животное и тёмное, что есть в природе человека. Не заигрывая ни с какими высокими смыслами – хоть бы они прятались под поповской тиарой или королевским венцом! Потому антикоммунизм властной рукой отодвигает всех путаников, всех колеблющихся и пытающихся усидеть на двух стульях.

И вот вся эта биомасса, все миллионнолетия животного существования плоти, испугавшиеся очеловечивания, уже вершащегося в России, – архимедовой силой выталкивают наверх со дна подонка, главное достоинство которого – в его полной чужеродности всей человеческой культуре. Ну, то есть раньше бы звериная жестокость, безусловное потакание самым низменным инстинктам, пороховая раздражительность, маниакальное влечение к убийству рассматривались бы как порок. А в изменившихся обстоятельствах биомасса считает их как высшее достоинство. «Вот такой нам и нужен!» – бормочет биомасса, но без слов: у неё, как и у Гитлера, нет членораздельной речи.

Она сформировалась до появления человеческих языков, она умеет только урчать, ворчать, реветь, трещать, шуршать, словом, общаться чувственными междометиями. Но биомассе этого вполне достаточно!

То, что как человек Гитлер круглый дурак, я могу вам доказать, сопоставив его единственную, тощую, как кляча бедняка доколхозной эпохи, книжонку «Моя борьба» – и писанину Шенерера, Ланца. У меня где-то есть его книжка, с дарственной надписью от автора...

– Ладно, не ищите, я вам на слово верю! – скрипнул пружинами дивана в ночной тишине разделяющий со мной ложе вредной финки генерал.

– Так вот, Гитлер не сформулировал ни одной собственной мысли, он, как двоечник, всё «скатал» с чужого сочинения. Что не у Шенерера, то у Ланца. Дословно. А от себя добавил только наивные выпренные описания величия собственной персоны, своей «борьбы». Как и бывает у психопатов, Гитлер очень жеманный, вычурный, любит ломаться и кривляться, у нас говорят – «выделываться». Но быть экзотом он, хоть и любит, да не умеет, потому что он интеллектуальный пигмей, он груб, как ломовой извозчик. Первое время мы с ним общались на одинаково ломаном языке: я, как иностранец, отличался невежественным и грубым искажением немецкой речи. Потом я учился, подправил префикс, а он – для которого немецкий язык родной, так и застрял в косноязычии.

– Понимаете, Александр Романович... – смущённо сознался «товарищ Трофимов», – вы упорно рисуете Гитлера идиотом и неучем. С одной стороны, можно ли вам не верить, вы ж его смолоду, облупленным, знаете. Но, с другой стороны, как вам верить – если в итоге перед нами вождь великой державы, победительно шествующей по Европе, и диктующий свою волю якобы более умным противникам... Я никак в толк не могу взять – как увязать одно с другим! Разве вы сами не видите противоречия?

– Нет. Потому что время выбрало Его.

– Объяснитесь!

– Извольте. Он – идиот, но и нужен был именно идиот. На моих глазах «чёрные ордена» нацизма отсеяли куда более разумных претендентов на фюрерство. Так получилось, что мы с вами дети своего века, и действие церковной прививки мистицизмом на нас ослабло. А посему мы стали слишком рациональны. Рационалист же не в состоянии понять конкурса мистерии, на котором отбирают не лучшего, а самого худшего претендента. Для нас как непреодолимая аксиома, что всякий, отбирая, попытается отобрать лучшее из предложенного! Вы не верите в дьявола, я буду для вас называть его «Тьмой биологической ткани», и вот: Тьме не нужен просветлённый, ей нужен именно тёмный, ей подобный. Потому что задача Тьмы – не в том, чтобы развивать или сохранять цивилизацию, а в том, чтобы её обрушить. И вернуться в дикий лес, куда, как компас, указывают дорогу все низшие инстинкты живого существа!

И «чёрные ордена» подбирали оружие, соответствующее их чёрной цели. Если человек хоть на секунду заморожено застынет перед Сикстинской Мадонной – он уже не их. Если у

человека хоть раз дрогнет рука, сжигающая книги, – он уже не их. Малейшее поползновение человеческой мысли во что-то сверх зова крови – и он уже не их. А мы, рационалисты, и через то ограниченные люди, такого не понимаем, даже когда нам разжёвывают, и с примерами, с иллюстрациями пытаются объяснить! Вы этого сейчас не понимаете, а я двадцать лет этого не понимал, потому что был слеп, и в паяце видел только паяца, в вонючем клоуне не замечал ничего, кроме его клоунады и вони.

– А там есть что-то другое? Просветите, *что*, я за этим и приехал...

– И вот что я вам скажу: есть гитлер с маленькой буквы, и Гитлер с большой. Что касается гитлера с маленькой буквы, то это дешёвая тряпичная кукла, которую легко заменить. Понимаете, мудреца заменить трудно, а идиота-то найти – только свистни! Но Гитлер с большой буквы – это не человек, а нечто бесконечно долговременное, всё то в каждом из людей, что ждёт и чаёт прихода Тьмы, и служения Тьме.

И, выбирая Гитлера, люди, разумеется, выбирают не этого засранца, мало кому лично знакомого, и никому, с личной точки зрения, не интересного. Они выбирают Тьму, и тем активнее, чем сильнее испугает вспышка света. Эту тьму чёрное в человеке выберет с этим, с тем, с пятым, с десятым... Да разве Пилсудский или Муссолини, или Франко, или японский микадо – в чём-то лучше Гитлера?! Или этот вот колониальный синклит сатрапов и раввинов лондонского клуба?

## 8

Здоровенные и мускулистые, словно афинские статуи богов, бритоголовые парни в рубашках с коротким рукавом, как бы подчёркнутых широкими подтяжками, короткоштаные великовозрастные белобрысые обалдуи, перебрасывались у задних дверей Гросслюхен картофельными очистками: забирали их полной горстью, кидали с разлётом, весело, беззаботно, с неподдельным счастьем хохочущей, ликующей молодости – и при этом умудряясь ещё довольно пластично пританцовывать.

– Вот как растёт благосостояние нации, – поучительно подметил Шварц-Бостунич, словно в блокнот агитатора записал. – А в веймарские годы, Саша, ты же помнишь, они бы эти Kartoffelschalen сварили бы и слопали!

– Да, и такой хореографии у них точно бы не было! – покладисто поддакнул я.

Умные люди в Рейхе давали взятки, чтобы быть комиссованными с государственной службы в частную жизнь. Я же, считая себя неглупым человеком, давал взятки наоборот: чтобы меня из тихой частновладельческой гавани забрали обратно на госслужбу. Этим занимались (не бескорыстно) и Гриша Бостунич-Шварц, мой старый знакомый, и клерки из Russische Vertrauensstelle. То есть из «Русского национального управления», созданного в Берлине Гитлером под своего прежнего покровителя и укрывателя, генерала Василия Бискупского. Из ступы, в которой толклись белоэмигранты...

– Никто никому не нужен, – обняв меня при встрече, брюзжал старик Бискупский. И философски расщеплялся в самом себе: – Всем на всех плевать. И это правило. Исключения только подтверждают это правило – по законам «больших чисел»... Но только на этих исключениях, лишь подтверждающих правило, и держится ещё жизнь на Земле. – А потом, распляясь, продолжал: – Никому ничего не интересно, поелику человек в непотревоженном состоянии своём – существо ленивое и глупое. Если менторы, скучая уделом, перестанут ленивой палкой вбивать в него классиков – он забудет даже и классику. Только на этих исключениях, на этом полупроценте чудачков, лишь подтверждающем общее правило, ещё и существует человеческая культура.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.